

The Samizdat Journal 37, in the Electronic Archive *Project for the Study of Dissidence and Samizdat*, ed. Ann Komaromi, Toronto: University of Toronto Libraries, 2015. Transcript based on the copy of “37” № 1 (1976) at the Historical Archive, Institute for the Study of Eastern Europe, University of Bremen, F. 132.

[**COVER**]

ТРИДЦАТЬ СЕМЬ

ЛЕНИНГРАД

1976

январь

[**PAGE 1**]

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!

Идея журнала зародилась у нас как естественное продолжение дружеского общения.

Слишком многое уходит в небытие.

Значимые *факты* живого культурного процесса зачастую остаются достоянием маленькой группы людей.

Здесь, в квартире "37", регулярно происходят семинары, поэты читают стихи, ученые рассказывают о своих новых идеях. Но все это, к сожалению, не фиксируется, оставаясь предметом устного бытования.

Поэтому цель журнала "37" – **ВЫВЕСТИ КУЛЬТУРУ ОБЩЕНИЯ ИЗ ДОПИСЬМЕННОГО СОСТОЯНИЯ.**

Предметы устных выступлений и дискуссий легли в основу разделения материала по следующим разделам:

- ФИЛОСОФИЯ /проблемы феноменологии, герменевтики, экзистенциализма, структурализма, восточной философии; патристика и современная религиозная философия/.
- ДИАЛОГИ /свободное обсуждение вопросов духовной и культурной жизни/
- ПОЭЗИЯ И ПРОЗА /публикации поэтов и прозаиков мало доступных широкой публике/
- НАУКА /выступления по наиболее острым и спорным темам точных, естественных и гуманитарных наук/
- ПУБЛИКАЦИИ /материалы из личных архивов: поэзия, проза, статьи, воспоминания и письма русских мыслителей, поэтов, ученых, не утратившие актуальности до нашего времени/

[**PAGE 2**]

- ПЕРЕВОДЫ /публикации фактически неизвестных в России работ зарубежных философов, произведений писателей и поэтов, определяющих духовный облик современной западной и мировой культуры/
- ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА /современная русская и зарубежная литература и искусство/
- ХРОНИКА И БИБЛИОГРАФИЯ /обзор событий культурной жизни; рецензирование и аннотирование вышедших книг/

Журнал выходит ежемесячно.

Редакторы:

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ГОРИЧЕВА, отдел философии, диалогов, переводов.

ВИКТОР БОРИСОВИЧ КРИВУЛИН, отдел поэзии и прозы, критики и публицистики.

ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ РУДКЕВИЧ, отдел науки, публикации, хроника и библиография.

1976 год, 18 января

Все желающие могут предоставить материал по пятницам с 20 часов по адресу: Ленинград, Курляндская улица, д. 20, кв. 37.

[**PAGE 3**]

Виктор Кривулин –
Татьяна Горичева

Евангельские диалоги

I

"Пилат спросил его: Ты царь Иудейский?

Он сказал ему в ответ: Ты говоришь?

Лк., 23.3

а) Социофония зла

В.К. Вопрос, заданный Иисусу, имеет целью отнестись к существованию Богочеловека в плане социальном. Пилат видит – и для него очевидно только эта сторона личности Иисуса – только законную или незаконную (это не существенно) попытку занять некое запретное место в земной иерархии? И он не спрашивает: "Ты называешь себя царем иудейским?.." – но "Ты царь Иудейский?", не ожидая встретить пропасть между самовыявлением Христа и Его подлинным человеческим существом. Читая строку эпиграфа, мы попадаем в мир слова, еще не ставшего объектом спекуляции и сокрытия реальности (маской), но слова в том мире, где встречаются Пилат и Христос, существенны, т. е. не означают что-либо в реальности, а являются ею.

Т. Г. Христос не отвечает Пилату. Вопрос Пилата наталкивается на непреодолимое препятствие, его суетность поедает сама себя. "Ты говоришь", а не Я, монолог, а не диалог, немота и безответность ожидают всякого, рискнувшего сделать "мудрость мира сего", знанием о мире горнем. Поэтому-то мы и не входим здесь в мир Слова, как и не входим в мир маски, поскольку Слово принадлежит молчанию Христа, а маска – только мнимой откровенности Пилата.

В.К. И все-таки за 'безответственностью' Пилата стоит огромная, налаженная государственная машина – проводник и орудие зла, направленного против человека. Отсылая Пилата к заданному вопросу, Иисус не молчит – или, если молчит, то и молча отвечает,

[**PAGE 4**]

2.

предоставляя злу саморазоблачаться. Он как бы зеркало Истины перед лицом Пилата. И в этом смысле есть диалог, а не только монолог, произносимый колесиком и винтиком императорского механизма. Суд социальности перед лицом человеческим становится заведомо неправ – не только потому, что вторгается не в свою сферу, но и потому, что обнаруживает в себе противоречие. Сами принципы, объявляющие правосудие истинным, основаны на соответствии слова делу. 'Государево слово и дело!' – лозунг пыточных учреждений – предполагает полное тождество слова делу, уравнивает мыслимое и содеянное. Это тождество для Пилата несомненно, и утверждая его, он как бы провоцирует Иисуса на выбор: отказаться от Себя или сознаться в преступлении. Иисус же показывает, что преступник сам Пилат.

Т.Г. Есть ли у нас враг, должно ли любить его, гордиться им? Нужно ли, подобно Ницше, оценивать свою силу силой своего противника? Ложь, царство путаницы и абсурда, скучные парадоксы социального бытия не могут противостоять драматизму смысла, который мы иногда чувствуем, иногда созерцаем, иногда смутно сознаем, но никогда не забываем. – Социофония – Пилата и его двойников – наших современников – сама продукт Духа и Духом обнаруживает себя. Ее существование призрачно, в глубоком обмороке она цепляется за все, что еще не омертвело – она навязывает миру культуры и Духа свои двусмысленные определения, свои однозначны мотивы. В этом истеричном подслушивании, подсматривании и подозрении – глубочайшее недоверие ко всему подлинному и здоровому. Социофония открыта вечному в искаженном садизме и в своей неразделенной любви к люмпен-интеллигентному миру неофициальной культуры.

[**PAGE 5**]

3.

б) Молчание Иисуса

Т.Г. Вопрошающий уже знает ответ. Есть вопросы, которые спрашиваются в суете, весь смысл которых в автоматизме, связующем общим шаблоном вопрос – ответ, стимул-реакцию, судью-подсудимого, – подать Кесаря. Вопрос о власти принадлежит к подобным вопросам. Все в мире относится к веку сему и его скоропроходящим истинам. Все мирские противоречия не диалектичны по существу – в них тезис живет за счет антитезиса, а антитезис – за счет тезиса. В них раб и Господин – одинаково рабы, а существующее и несуществующее одинаково не существует. Наша, еще совсем молодая и ...

В.К. ... и едва только оформляющаяся в нерасчлененном потоке бытия, культура (которую и культурой-то назвать как-то стеснительно) обнаруживает себя существующей лишь перед лицом социального судилища – до последнего времени было так. Она находила свое существование только там, где начиналось царство общественного небытия, она сама иначе не видела себя, как неким антибытием – и была мертва, как тело, не одушевленное еще разумом. Но наступает такой миг, когда требуется утверждение или, по крайней мере, двойное отрицание: Небытия нет! – ситуация, прообраз которой дан в диалоге Понтия Пилата и Иисуса, где Христос отправляет заданный из духовного небытия вопрос – обратно, в небытие же. Ситуация, когда мы отчетливо обнаруживаем границу двух сфер социального небытия и духовного бытия.

Т.Г. Небытия нет, это значит, что Дух, наконец, стал бытием утратив инфантильные замашки и радость одинокого риска. Анекдоты и недоверие отошли в прошлое вместе с манией величия и преследования. Фрейдизм, марксизм и павловская теория условного рефлекса не образуют более всеобъемлющей парадигмы, лежащей в

[**PAGE 6**]

(4.)

основе и объясняющей нас. Мы живем под другим небосводом. Провинциальная боязнь события до сих пор фабрикует мифы. Но очень скоро мы перестанем быть злым городом и всякая подозрительность будет парализована нашим: – Ты говоришь. Научившись видеть нечто непреходящее и бесконечное, мы стали младенцами на зло, хотя и не помудрели еще в Добре.

В. К. Единственная, кажется функция культуры, которая до сих пор позволяет подозревать в ней живой процесс, а не просто вереницу музейных залов и книжных стендов, – это возможность подлинных явлений культуры быть совестью, быть образом Истины перед уродливым лицом современности. Участник культурного дела – на совопросник века сего, с охотой и доверчивостью вступающий в диалог, с силами, чуждыми какой бы то ни было человечности, – он может легко утратить свое божественное право ответить: Ты говоришь. Он рискует попасть в положение разбойника, повествующего Пилату о своих злодеяниях с тайной надеждой на то, что его преступления не будут сочтены настолько тяжкими, чтобы наказание пресекло возможность рецидива. Диалог с властями предержащими как одна из целей культурного движения ставит нас – его участников – в позу кающегося разбойника. Желание доказать, что ты действительно царь иудейский, по видимости, полярно отказу от своих убеждений – Не я, Господи, не я! – но по существу обличает в отвечающем преступника, который устав запираяться, спешно саморазоблачается.

[**PAGE 7**]

5.

БОРЬБА С НАТУРАЛИЗМОМ[1].

Макс Шелер жил в эпоху все возрастающего авторитета науки, в эпоху промышленной концентрации и грубой веры в прогресс. Сознание поколения, к которому принадлежал Шелер, формировало себя в борьбе с расцветшим на базе развития естественных наук 'натурализмом'. Против различных форм позитивно-натуралистической мысли выступил целый ряд философов, поэтов и всех тех, кого волновала судьба человека, отгесняемого на задний план мироздания успехами экспериментальных наук. Достаточно вспомнить лирику Гофмансталя, Рильке, Георга, несущую ощущение качественной полноты мира, изумляющую таинствами душевной жизни, или же философию жизненного потока А. Бергсона и во многом противоположную ей систему Дильтея, где ведется борьба с натурализацией духовной реальности.

Натурализм не школа. Это – тенденция, которую можно проводить с сознательным и вполне невинным оптимизмом, как это и происходило у позитивистов, например, Спенсера, чьи скучные, не задевающие глубин жизни рассуждения – служили объектом многосторонней критики со стороны Шелера. Но иногда натурализм появляется там, где его совсем не ждут. Даже, напротив, где он – враг 'номер один'. Так произошло со многими мыслителями философии жизни, злоупотребляющими литературными двусмысленностями, крайностью выводов, (отсутствием диалектики) и прикованностью к некоторым типам естественно-научного мышления (прежде всего к биологии). Даже сам Шелер, соединивший в своей душе все

1. Главы из статьи Горичевой Т. М.: М. Шелер. Некоторые проблемы творчества. [Статья перепечаталась в ж. Часы. 1980. № 25.]

[**PAGE 8**]

6.

антинатуралистические веяния эпохи от гераклитового потока 'философии жизни', до интенциональной предметности Гуссерля, даже он, понимающий человека как 'ничто' и 'трансценденцию', оказался заброшенным в судьбу, посмеявшуюся над многими его современниками. Но о натурализме самого Шелера речь пойдет потом. Сначала посмотрим, как он относится к натурализму своих предшественников и современников.

История натурализма – это история постепенного вытеснения деятельной активности духа 'психической организацией', которая реагирует и приспосабливается, качественного своеобразия – количественной гомогенностью:

'Современное мировоззрение, как оно развивалось со времен Галилея, изгнало 'качества' и 'формы', а также все живые взаимодействия вначале из сферы природы. Место качественных различий материй, 'земных' и 'небесных' тел заняло принятие химической гомогенности вселенной'[1]. Принцип однородности, который может быть приносит пользу в естественных и прагматических науках, где необходимо бесконечное деление (напомним 'интеллект' Бергсона), совершенно неприемлем, когда дело касается человеческой реальности, как таковой. Принцип однородности в психологии, например, привел к рассмотрению психической жизни как 'искусственного единства' максимально малого количества элементарных единиц (ощущение, влечение, чувство) по аналогии с естественными науками. Этой безликой гомогенности Шелер, вслед за Дильтеем, противопоставляет уникальное единство переживания и смысла.

Натурализм многолик. Одним из наиболее влиятельных его проявлений стали психологизм, в борьбе с которым и происходило

1. [Сноска без содержания.]

[**PAGE 9**]

7.

становление феноменологического метода.

Здесь Шелеру помог Гуссерль, который дал исчерпывающую критику психологизма в I т. "Логических исследований"[2]. Его имевшая необычайный успех аргументация направлена против "антропологизма" тогдашней логики, исходя из которого логические законы должны отражать лишь функциональные законы "нашего человеческого мышления", а не идеальные сущностные законы, совершенно независимые от психологических и антропологических свойств [3], и заложенные в сущности предмета. Шелер переносит ту же критику в сферу идеальных ценностных сущностей, освобождая этику и понимание от их прикованности и "плотности" психологических законов.

Труд Шелера "Сущность и формы симпатии"[4], начинается с критики психологической теории Липпса, основывающей человеческое понимание на "чувствовании" и "подражании". Липпс исходит из предпосылки отдельного существования другого Я, которое мы не постигаем до конца, до глубины его интимности. В нем мы понимаем лишь отдельные аспекты, общие нам и ему. И это постижение возможно благодаря подражанию и вызываемой им репродукции ранее пережитых радости или страха. Следовательно, понимание какого-либо переживания должно основываться на реализации собственного переживания, испытанного когда-то.

Но, как справедливо замечает Шелер, "когда мы понимаем смертельный страх утопающего, мы не нуждаемся в том, чтобы чувствовать реальный смягченный страх смерти. Это значит, что данная теория противоречит феноменологическому факту, говорящему нам о том, что понимаемое в понимании не воспринимается нами реально. Реально, т. е. психологически-заразительно. Шелер справедливо замечает, что "заразительность" присутствует лишь на низших

1. [Сноска без содержания.]

2. Гуссерль Э. Логические исследования (нем. *Logische Untersuchungen*), т. 1: 1900, т.2: 1901.

3. [Пробел в машинописи.]

4. Шелер М. Сущность и формы симпатии (нем. *Wesen und Formen der Sympathie*), 1923.

[**PAGE 10**]

8.

ступенях человеческого общения (аффекты массы). Глубина понимания возрастает с очищением его от всякого подражания и заразительности.

Отметим, что психологизм не способен разрешить проблему коммуникации, поскольку связь двух индивидов моделируется им как репродукция одного и общие состояния описываются как воспроизведение состояния единичного Я, замкнутого и недоступного.

В своем непонимании тайн человеческого общения натурализм доходил до отрицания истинности моральных феноменов, возможности особого нравственного опыта, Шелер называет его этическим номинализмом. Моральные суждения для натурализма являются не чем иным, как выражением чувств, аффектов, интересов, актов желания и т. д. Они не обладают собственной ценностью. Натурализм не способен разглядеть специфику моральных чувств, не способен признать за ними право на автономность. Он ставит моральные феномены в зависимость от похвалы, порицания, успеха, в зависимость от партийных интересов, признает за ними лишь утилитарное назначение.

Особо ополчился натурализм на все высокие чувства, поскольку он, по выражению Ницше, являлся одновременно и более реалистическим взглядом, более приземленным и честным, страдающим от ощущения слишком большой изолганности и неоправданной растраты сил. Но его отрицание всего сентиментального вышло далеко за пределы дозволенной редукации. Фрейд и Шопенгауэр сводили любовь к половой страсти, выводили ее из слепых влечений. Шопенгауэр, к примеру, считал, что половая любовь – это эмоция, при помощи которой гений рода вершит, как при помощи бича, темное и сомнительное дело простого размножения (см. Шопенгауэр "[1]"). Гений рода уничтожает

1. [Название отсутствует.]

[**PAGE 11**]

9.

всякое разъединение и всякую индивидуальность. Половая любовь сама по себе не может быть основой для моногамии, поскольку моногамия объединяет не два тела (все тела равны), а две души. В этом, как полагает Шелер, смысл "брака на небесах", единственно возможного союза, таинственно-необъяснимого единства сущностей, а не тел. Натуралистические теории не способны объяснить это высокое сожителство душ. Натурализм не просто ложно объясняет факты, он даже не способен их увидеть. Слепой по отношению к индивидуальной любви, он тем более не способен признать "мистические" ее виды, например, "святую любовь" подвижника. Этот тип любви особенно дает повод к различным кривотолкам. Сфера религиозного принадлежит к наиболее необъективируемым и невыразимым. У Киркегора[1] религиозное – противоположность эстетического как чего-то видимого и отчуждаемого. Поэтому религиозные чувства – особый соблазн для стремящегося к "суровой правде" натурализма. Здесь, как пишет Шелер, легко перепутать форму и содержание. Уже для самого верующего, для самого любящего высшей любовью нет уверенности в том, что его любовь совершенно чиста, что через мгновение "искуситель" не обратит белое в черное, не подменит бесконечность самопожертвования себялюбием. Более того, он, может быть, уже сейчас проделал это и мы, не имея ничего кроме чувственности и страсти, с легкомысленностью и тупостью фарисея хвалимся чистотой сердца. То, что является проблемой для верующего, обретает однозначно-отрицательную интерпретацию у неверующего, тем более, для неверующего позитивиста.

Любовь у Шопенгауэра, а затем и у Фрейда – это сублимированное половое влечение, и больше ничего. Светлый образ Франциска Ассизского[2] служит для Шелера живым опровержением

1. [Кьркегор/Киркегор, Сёрен.]
2. [Ассизский].

[**PAGE 12**]

10.

натуралистической точки зрения в этом пункте: "Это – прикрытое, замаскированное или утонченно сублимированное половое влечение! Но почему же оно "прикрылось", "замаскировалось", "сублимировалось" к примеру, у юного, прекрасного, полного сил, богатого, любимого Францизска?"[1].

Отрицающие любовь отрицали каждый на свой лад. Спенсер выдвигал тезис об "избыточности" любви, на место которой постепенно придут научно-справедливые требования, так что социальное равновесие, конечное единство интересов очистит мир от любви, сделает ее излишней. Но можно ли свести любовь к "единству интересов" и "равновесию"? Когда философия, к примеру, Спенсера, думает, что "альтруистические наклонности" (которые они отождествляют с любовью) разворачиваются и развиваются через примирение интересов и полагают, что "идеальная" цепь развития в устранении "жертвы", они не видят, что образовавшееся в этом примирении влечение не имеет ничего общего с любовью"[2].

Любовь для Шелера – трансцендирование к более высоким ценностям. Она никогда не будет избыточна: человек навсегда остается существом ищущим, поэтому "идея" конечного нравственно-удовлетворенного состояния человечества без жертвы и любви – бессмыслица. Любовь не прекратима, поскольку лишь благодаря ей происходит трансцендирование к более высоким ценностям.

Итак, основной порок во взгляде натурализма на личность заключается в том, что натурализм не способен выделить специфическое человеческое содержание в человеке, что он превращает личность в некую замкнутую на себя монаду, не трансцендирующую,

1. [Сноска без содержания.]

2. [Сноска без содержания.]

[**PAGE 13**]

11.

пребывающую в равновесии камня. Она меняется только внешне, через адаптацию к окружающей среде (организм Спенсера), она сублимирует свои влечения, не изменяя их природы по существу, поскольку эта сублимация – лишь реакция на внешние запреты, она ничего не меняет внутри человека (Фрейд). Замкнутой и неподвижной представляет личность человека и в различных психологических теориях подражания.

Такая личность не может развиваться и совершенствоваться, ей грозит самое печальное одиночество, поскольку кроме себя она ничего не знает, она всегда действительна, для нее нет возможностей, нет выбора, а, следовательно, и свободы. Вот почему самые различные философы (экзистенциалисты и философы жизни, феноменологии, протестанты, католики и многие другие), выступили против натурализма, одни – с позиций конечности и свободы, другие – с позиций самоопределения человека и его движения к Богу.

Понимая человека, как "жест трансценденции", как вечный переход, Шелер не оставляет ему никаких надежд на "остановку" на отдохновение через принятие какой-либо конечной формы, через овеществление или натурализацию духа.

Не только замкнутость и абсолютизация имманентного раздражают феноменологическое око Шелера. Вторым, наиболее существенным моментом неприятия натурализма является его формализм, во всем, что касается вопросов духа. Его цинизм и недоверие ко "всему высокому" лишает анализ нравственных феноменов предметности: все, выходящее за пределы пользы и влечений, трактуется как их проекция, как сублимация и извращение. Следовательно, любовь, благо, и т. п. вещи – лишены содержательной наполненности или предметности. Их смысл и причина – вне их, прояснить

[**PAGE 14**]

12.

этот смысл возьмется психоанализ или какая-нибудь другая генетивная теория, но не феноменология, описывающая то, что дано непосредственно.

Для феноменологического же видения реальность моральных ценностей столь же очевидна, как для физического – реальность красок и формы: "Простым фактом является то, что мы относимся к ценностям так же, как к краскам и тонам. Здесь, как и там, мы видим общий нам мир, поскольку мы видим предметность и отделяем этот мир от субъективно-различных способностей его постижения, а также уровней интереса, с которым мы обращаемся к его частям"[1].

Итак, два существенных момента настраивают Шелера против натурализма: замкнутость человеческого существования и непредметность моральных и духовных ценностей. Позднее мы увидим, что, несмотря на весь антинатуралистический пафос, Шелеру не удалось вполне избежать ни первого, ни второго из названных недостатков натурализма.

1. [Сноска без содержания.]

[**PAGE 15**]

13.

КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ И ЛЮБВИ

"Шелер возвратил человечеству ту единственную ценность, которая способна сделать жизнь человека стоящей: любовь"[1], – так оценивают Шелера современники. Шелер немало занимался сущностью человеческой симпатии. Ценности в его философии постигаются не рассудком, а сердцем и чувством. И центральное место среди "прочувствованных" ценностей неизменно принадлежит любви.

Любовь и познание тесно связаны (о чем мы уже писали раньше), но если для Шелера знание без любви – "медь звенящая, или кимвал звучащий", то для античной (а также для индийской) философии – это не так. Критика Шелером платоновского эроса – блестящий образец критики этического и гносеологического эгоизма вообще.

Эрос у Платона был движением от меньшего знания к большему знанию, от менее совершенного – к более совершенному, от менее красивого к более красивому, и т. д. Любить могут лишь те, кто принадлежит этому движению, не мудрецы и не Боги, а философы, люди еще не вполне знающие, но и не совсем невежды. Полное же знание и совершенство исключает любовь как желание и стремление. Блаженство Бога вне всяких томлений: "И поэтому божество – это лишь предмет любви, само оно не любит, как любит Бог в христианской сфере"[2].

Первый пункт расхождения с Платоном – недооценка им любви, непонимании того, что сам Бог – и есть любовь. Христианство сделало любовь "первоначальной движущей силой божественного и человеческого духа"[3], в ней больше блаженства, чем в любом

1. [Сноска без содержания.]

2. [Сноска без содержания.]

3. [Сноска без содержания.]

[**PAGE 16**]

14.

разуме. Если в античности движение совершается от низшего к высшему, то в христианстве – наоборот. Бог спускается в мир, он отдает в жертву своего любимого сына, он облачается в конечные и тленные формы.

Итак, античность по Шелеру в принципе неверно понимала направленность любви и не сумела оценить ее божественной природы. Но не это одно ставит Шелер в упрек Платону и его эпохе. Сама структура любви неверно понята Платоном. В основе любви лежит принцип сохранения, а не творчества, поскольку любовь как стремление к бесконечности пытается увековечить уже данную форму тела, закона разума, духа, усовершенствовать в бесконечном количестве новых индивидов один и тот же вид. Эта "консервация" данного натурализует видение Платона, заземляет и умертвляет любовь.

Принцип сохранения тесно связан со вторым, противоречащим самой сущности любви принципом, который называется Шелером "эгоизмом целого". Особо ярко этот эгоизм проявил себя в известном мифе об андрогинах, где любовное единение покоится на различии полов, дополняющих друг друга. Два сросшихся в один андрогин индивида образуют новое самостоятельное существо, теперь уже вполне довольное собой, вполне самостождественное и умиротворенное. В основе этого образования – эгоизм целого, или "[1]". Конструкция "андрогина" более широка, чем это можно было бы себе представить. Она, в сущности, пронизывает собой весь европейский пантеизм: "Весь пантеизм от Спинозы до Гегеля и Шопенгауэра вобрал в себя этот ложный принцип"[2]. Пантеистический дух – противоположность трансцендирующему, он растворяет Бога в природе, не оставляет ничего, что было бы запредельным, потусторонним; довольствуясь собой пантеизм

1. [Пробел в машинописи.]
2. [Сноска без содержания.]

[**PAGE 17**]

15.

пребывает в плену у собственного Я.

Девятнадцать веков господства христианства не привело человечество к единому взгляду на любовь. Процесс постепенной секуляризации изменил сам предмет любви. Господство индивидуализма создает романтический тип любви, который так завладел европейским сознанием, что и по сей день отождествляется в нем с любовью вообще. На нем мы и остановим свое внимание, поскольку здесь мы найдем одну из скрытых парадигм шелеровской концепции личности и симпатии. Шелер не уделял особое внимание романтизму, он не поддержал мощное антиромантическое движение мысли, включившее в свои ряды Ницше и Киркегора. А он как феноменолог и христианский мыслитель смог бы обнаружить немало грехов в романтической концепции любви.

Во-первых, он обнаружил бы и здесь тот языческий эгоизм, который нашел уже у Платона. Сущность романтической любви в том, что два индивида образуют одно целое: "Я более не могу сказать – моя любовь или твоя: обе равны и полноценно едины, как любовь, так и ответ на нее. Я знаю, не пожелаешь и пережить меня, ты последуешь за излишне торопливым супругом в могилу, желание и любовь опустят тебя в пылающую бездну"[1].

Понимая любовь как такое нерасторжимое единство или как томление по этому единству, романтизм, в сущности, воспроизводит миф об андрогинах, точнее, создает его организмический вариант: "В семье души становятся органически ЕДИНЫ, именно поэтому семья целиком поэтична"[2]. Организм – та же замкнутая на себя монада, что и андрогин, его прочность, как и прочность андрогина, покоится на дополняющих друг друга признаках: "все противоположные свойства делают возможным более

1. [Сноска без содержания.]

2. [Сноска без содержания.]

[**PAGE 18**]

16.

углубленное соединение"[1]. Противоположность полов, а, следовательно, и их взаимообремененность друг на друга, делают романтическую любовь половой любовью и заставляют романтиков поднять ряд вопросов, связанных с полом, например, вопрос о женском образовании и эмансипации, поскольку "на этом пути, – пишет Фр. Шлегель, – совершаются самые важнейшие реформации".

Высшее блаженство понимается романтизмом как состояние ничем невозмутимого покоя и наслаждения, которое, наконец находят любовники в объятиях друг друга. Это сладкое забытие, эта неподвижность вечно настоящего возвращает романтического героя к растительной жизни: "Жизнь растения рассматривается как высшая форма жизни в природе"[2]. Поэтому романтики воспевают безделье, регрессирующий руссоистский инстинкт ведет их назад, к природному состоянию человечества, к блаженному синкретизму андрогина. Романтическая страсть направлена не на самоопределение и раскрытость другому, это тоска по доисторическому и непросветленному, это – "эгоизм целого".

Итак, мы вычленили один из натуралистических пороков романтической концепции любви – непробиваемый эгоизм и монадность.

Нетрудно показать, что романтизму присуща и бессодержательность натуралистического подхода. Эта бессодержательность отмечена уже Гегелем в его "Эстетике".

Если в чести основное определение составляет личная субъективность, так как она себя представляет в абсолютной своей самостоятельности, то в любви скорее самым высоким являются посвящение субъекта индивидууму другого пола, отказ от своего самостоятельного сознания и своего разобщенного для-себя-бытия,

1. [Сноска без содержания.]

2. Брандес Г.

[**PAGE 19**]

17.

которое чувствует себя вынужденным иметь свое собственное знание о себе только в сознании другого"[1].

Эта потеря своего сознания в другом, эта видимость бескорыстия и отсутствия эгоизма, благодаря которой субъект впервые снова находит себя и становится Я ([3]), это самозабвение так что любящий живет не для себя и заботится не о себе, а находит корни своего существования в другом и все же в этом другом как раз всецело наслаждается самим собой, – это и составляет бесконечность любви"[2]. Гегель затем отмечает субъективно-частный характер любви, ее не-субстанциональность и произвольность.

Действительно, поскольку романтическая любовь покоится на тождестве двух бесконечных, невыразимых и самоопределенных сознаний, она бессодержательна и пуста. Одно сознание, будучи бесконечным в своей уникальности, определяет себя через другое, столь же невыразимое и бесконечное, сколь же определяемое первым. Мы попадаем в порочный круг, который свидетельствует об иллюзорности данной структуры любви. Недаром романтические любовники интересны только тогда, когда им приходится иметь дело с внешними препятствиями, т. е. когда они и их любовь не существуют как нечто самостоятельное, но представляют собой функцию от внешнего ей содержания. В этом – природа романтического идеала и романтической оторванности от жизни вообще. Это – бегство в воображаемое, в мир грез и сказок, чья реальность признается за действительную, в то время как не хотят, да и не могут увидеть самих себя за густым туманом сладострастных фантазий, что вымышленное бытие во мнении других, о котором писал Паскаль: "Мы недовольны жизнью, которая

1. Гегель Г.: Сочинения. Т. [пробел] М., 19 0, с. 126

2. Там же

3. [Пробел в машинописи.]

[**PAGE 20**]

18.

в нас самих и в нашем собственном существе, мы желаем жить воображаемой жизнью, в идее других, и из-за этого силится выставлять себя на показ. Мы непрерывно стараемся украсить и охранить это воображаемое существо и пренебрегаем подлинным существом. Если мы обладаем душевным спокойствием, великодушием или верностью, мы хлопочем, чтобы все это знали, хотим привязать эти добродетели к этому воображаемому существу: мы скорее готовы отнять их от себя, чтобы только присоединить их к нему: мы охотно были бы трусами, чтобы приобрести репутацию храбрецов"[1].

"Небытие" романтической личности и "небытие" романтической любви очевидно, хоть эта личность и привыкла считать себя чем-то абсолютным. Иллюзия абсолютности связана, прежде всего, с укоренившимся представлением о личности, как о чем-то бесконечном и уникальном, неделимом и "непробиваемом".

Углубленное сознание уникальности и связанная с ним критическая озабоченность по поводу верного выражения грозит потерей всякого масштаба и небытием молчания. Это – не глубокое молчание мистиков, но двусмысленная немота, грозящая безудержным потоком ничем не сдерживаемой болтовни. В романтической любви исчезает предмет, который смог бы очертить границу этой болтовни. Структура романтической любви противоречит одному из основных феноменологических принципов, принципу корреляции, о котором говорилось раньше. Корреляция предмета и переживания подменяются у романтиков тотальностью поглощения одного другим (здесь уже нет предмета, есть объект) и полным исчезновением феноменологической очевидности. В романтической любви отсутствует интенциональное отношение между переживающим и переживаемым. Непосредственность их соединения элиминирует всех

1. Паскаль Б. "Мысли" с. 51-52

[**PAGE 21**]

19.

содержательных посредников.

На этом пути оказывается и Шелер, возвратившийся к концепции "уникального" и "непредметного" любимого. Его центральный труд о любви "Сущность и формы симпатии", написан на основе феноменологического анализа различных форм человеческих отношений. Несомненно, что в вопросах "симпатии" и "антипатии" можно выйти за пределы психологизма и субъект-объектной софистики. Онтология и феноменология любви должна искать свой предмет за пределами атомарной концепции личности, а человек должен быть выведен из своей замкнутости и открыт миру и бытию. Какой же представляется любовь Шелеру? Как ни странно, но в решении этого важнейшего вопроса Шелер изменяет феноменологическому методу и превращается в романтика. Остановимся подробнее на его концепции любви.

Отмежевываясь от различного вида психологических и генетических теорий, Шелер создает вначале негативную феноменологию любви. Любовь не имеет ничего общего с томлением, стремлением, влечением: "В любви человека к человеку (и в ненависти тоже) эти акты уже постольку не зависят от смены чувств, поскольку они в этой смене состояний пронизывают свой предмет, как спокойные, сильные лучи. И никогда наша любовь не изменится под воздействием боли и страдания, которые приносит нам любимый человек, а наша ненависть – под воздействием радости и веселья, уготовленных со стороны "ненавистного". Любовь также не зависит и от различных "объективных" факторов: от богатства, благородного происхождения, общественного статуса и т. д. "Выше" она и достоинств ума, души, сердца, ее поистине невозможно объяснить. Эта "беспомощность" в объяснении лишает опоры всякую рационалистическую установку, для которой любовь слепа.

[**PAGE 22**]

20.

Позитивно-созерцательное описание любви сводится к тому, что любовь обнаруживает ценность вещей. Гносеологически она предшествует познанию логическому и волевому. "Человек как [1] или [2] следует за человеком [3]!"[4]. Любовь есть движение от низших ценностей к высшим. Уже здесь Шелер противоречит сам себе (себе – католику), поскольку возрождает этим определением платоновское представление об эросе как о движении "от несущего к сущему".

Затем при переходе к проблеме "Любовь и личность" его мышление становится совсем забывчивым. И прежде всего – в отношении предметного содержания любви.

Нужно сказать, что существуют как бы два уровня предметности. Первый из них принадлежит сфере субъект-объектных отношений, названной Ясперсом "ориентацией – в – мире". Это – сфера "принудительного" и "всеобщего" содержания. На этом уровне мы имеем дело с объектами-предметами, разнообразными только внешне, но в принципе взаимозаменяемыми и взаимопредставимыми. Любовь на этом уровне предметности существует как "содержательная" любовь к каким-либо свойствам личности, за которыми не видят личности, как таковой. Происходит подмена общего "частным", абсолютизация части, когда любят за благородство, талант или красоту, когда находят определение человеку, который в принципе не может быть так конечно определен. Этот низший вид "содержательности" описан Вл. Соловьевым как "фетишизм в любви" и с суровой справедливостью сведен до физиологического феномена: "У многих лиц, почти всегда мужского пола, это чувство возбуждается преимущественно, а иногда и исключительно тою или другою частью в существе другого пола (например,

1. [Пробел в машинописи.]
2. [Пробел в машинописи.]
3. [Пробел в машинописи.]
4. [Сноска без содержания.]

[**PAGE 23**]

21.

(волосы, рука, нога), а то даже внешними предметами – частями одежды и т. д. (Вл. Соловьев. "Смысл любви", 1892-1894, Спб., с. 35). Становится очевидным, что циничный редукционизм Фрейда, неуместный во многих других случаях, здесь вполне приемлем. Более прогрессивной формой человеческих отношений является романтизм.

Романтизм поднимается над абсолютизацией частного, над фетишизмом, его значение в мировой истории Эроса огромно и оно заключается, прежде всего, в том, что романтизм утверждает высшее "божественное" достоинство личности. Он открывает ее как таковые, вне рабской зависимости от биологических и социальных свойств. Он преклоняется перед свободой от предрассудков и условностей. Романтическая любовь – выше традиционного брака: "Шлейермахер насмехается над обыкновенным браком, в котором супруги живут, презирая друг друга, в котором муж видит в жене только ее пол, а она в нем – свое общественное положение"[1].

Не отрицая частичную содержательность человеческих отношений (любовь из-за статуса, красоты, ума, богатства и т. д.), романтизм порывает и со всяким содержанием вообще, о чем уже говорилось раньше. Поэтому романтизм беспредметен и нуждается в посторонних силах для того, чтобы определить себя. Романтическая любовь выигрывает в том, что освобождает личность от власти внешних ей достоинств и недостатков, но его "победа становится его поражением", поскольку романтические герои замкнуты в порочный круг и обречены повторить друг в друге. Мистическое тождество, образуемое ими, абстрактно и эгоистично, и поэтому определяется не изнутри, а извне. Романтический андрогинизм не поднимается до самоосознания, поскольку полагает себя высшей формой коммуникации, а не эгоизма. Его свобода

1. Брандес Г. Собрание сочинений, т.15, с. 52.

[**PAGE 24**]

22.

выводя личность из плененности внешним, обрекает ее на демоническую отторгнутость и саморазрушение, поскольку эта личность не самопревосходится и не опредмечивается более высоким содержанием.

Для того чтобы любовь получила свою "предметность" и свое содержательное наполнение, она должна выйти из сферы двусмысленности в сферу очевидности, и не очевидности красок и звуков, а очевидности внеэмпирической. Эта новая предметность обладает трансцендирующей "горизонтальной" природой, ею невозможно манипулировать, ее нельзя "иметь под рукой". Она безусловная. Но эта безусловность не принудительного характера – она дает личности полную свободу. Новая предметность должна нарушить одиночество двоих и разомкнуть андрогин навстречу бытию, она становится медиумом, разрушающим мистицизм их непосредственного отношения, тем третьим, благодаря которому возможен диалог.

"Хотя любовь как личное отношение представляет собой целиком объективное отношение, в том смысле объективное, что в ней мы выходим из всякой скованности "нашими собственными интересами", "желаниями", "идеями" (сверх-нормальным способом), но личность никогда не может быть дана как предмет. Ни в любви, ни в других подлинных актах невозможно опредметить личность"[1].

"Непредметность" личности влечет за собой свойственное романтической традиции отбрасывание всех содержательных модусов: "Я хочу подчеркнуть лишь то, что нравственно полноценная любовь не та, которая любит личность за какие-то качества или деятельность, за таланты, красоту, добродетель, но та, которая относит эти качества к объекту, поскольку они принадлежат этой индивидуальной личности. Эта любовь абсолютна лишь потому, что

1. [Сноска без содержания.]

[**PAGE 25**]

23.

не зависит от смены этих свойств и действий"[1].

Как видим, структура любви по Шелеру определяется взаимоотношением двух неповторимых индивидуальностей и, теряя феноменологическую предметность, воспроизводит двусмысленности романтического содержания.

Шелеровская концепция любви всецело связана с его концепцией личности.

И здесь Шелер оказался вполне сыном своего времени, мыслителем, пережившим крушение традиционного-гуманистического представления о человеке, как о венце вселенной.

"Человек – это мост", "Человек – искра, вылетевшая из черной топки локомотива в ночь", "Человек – это его поражение" бесчисленно количество подобных высказываний.

Подчеркивая "беспочвенность" человеческого бытия, некоторые современные мыслители (например, атеистический французский экзистенциализм) не прибегают к услугам [2], упиваясь красотой абсурда и собственной способностью мужественно противостоять судьбе. В таких системах мы встречаемся с разрушенной и изуродованной самостью, воспринявшей свою гибель, как обреченность, на лишенное последних иллюзий существование. Стоическое поведение руководствуется имманентизмом одинокого и гордого сознания, принимающего все то, что было им недавно отвергнуто. Его негативный пафос не предлагает ничего подлинного, это пафос количества, а не качества. Личность не выбирает, а старается проиграть как можно больше ролей.

Подобный эстетизм чужд Шелеру, как и большинству его немецких современников. Признавая человека только переходом и границей, он движется дальше: "Заблуждение предшествующих учений о человеке состояло в том, что между жизнью и Богом хотели

1. [Сноска без содержания.]

2. [Пробел в машинописи.]

[**PAGE 26**]

24.

поместить устойчивую сферу, нечто определяемо как сущность: человека. Но он только "между", он – граница и переход[1]. Бог – абсолютная точка отсчета: "Между филистерами и ищущими Бога людьми – больше различия, чем между человеком и животным"[2].

Как видим, человек по Шелеру не монада, не замкнутый в себе логический субъект, его бытие интенционально. В данном случае феноменологическая интенциональность выступает в своем религиозном обликии: человек интенционален, соотносясь с Богом. Услышать глас трансцендентного можно только укротив свою самость. Поэтому Шелер предлагает возвратиться к забытой добродетели – смирению: "Из всех современных состояний духа, внесенных в жизнь Иисусом Христом и дающих блеск божественного слова, смирение является тем, которое будучи правильно понятым – овеществляет собой глубочайший парадокс и сильнейшую антитезу как античным, так и современным буржуазным добродетелям. Смирение – это нежнейшая, потаеннейшая и прекраснейшая из христианских добродетелей"[3].

Смирение более совершенным образом очищает сознание и личность, чем обычная феноменологическая редукция и идеация: "Рискните отказаться от всех ваших внутренних ложных "прав" от "достоинств", "заслуг", уважения всех людей – но более всего от вашего самоуважения – от всякой претензии быть достойным какого-либо счастья и понимать его не как подарок – только тогда вы обретете смирение"[4]. Снять реальность самости и погрузиться в жуткую пустоту, лежащую за пределами всяких отношений Я – вот цель религиозно-феноменологической редукции.

1. [Сноска без содержания.]

2. [Сноска без содержания.]

3. [Сноска без содержания.]

4. [Сноска без содержания.]

[**PAGE 27**]

25.

Будучи противником всякого натурализма и вещизма, Шелер считает, что личность существует только в исполнении своих актов. Он порывает с великой философской традицией, настаивающей на субстанциональности личности и выраженной в определении Ноэция:"

Для Шелера субстанция тождественна вещи. Здесь мы имеем дело не с греко-схоластическим пониманием субстанции, а более современным, сложившимся в XVII в., когда под субстанциями имели ввиду нечто неизменное, противоположное акциденциям. В этой ситуации понятно, почему Шелер не мог сделать личность субстанциональной.

Личность не может быть понята ни как душа, ни как Я или самость, ни как субстанция. Любая попытка объективировать ее ведет по необходимости к деперсонализированному бытию. Личность по существу не предметна:

"В сущности личности принадлежит то, что она существует и живет только в совершении интенциональных актов. Она, следовательно, не "предмет"[1].

Пытаясь избежать натурофилософского подхода к концепции личности, Шелер выходит за пределы не только объективного, но и предметного рассмотрения. Но, отказываясь от предметности, Шелер, как нам представляется, возвращается к пустому тождеству формального постижения личности. Личность понимается им как единство переживания, смысла, интенциональных актов:

"Личность – это, прежде всего, непосредственно опосредованное единство переживаний"[2]. Единство же базируется на самоидентичности и, следовательно, замкнутости. Это несубстанциональное самоидентичство не поднимается над неподвижностью

1. [Сноска без содержания.]

2. [Сноска без содержания.]

[**PAGE 28**]

26.

вещи-в-себе. Таким образом, Шелер не смог придать человеку достоинство более высокое, чем достоинство камня, и он не сделал это, потеряв предметность.

Формализм его антропологических воззрений, простирается вплоть до абстрактных и внеисторических рассуждений о человеке вообще и о "человеческой любви".

Идея человеческой любви лежит по Шелеру в основе всех форм симпатии. Космическая любовь буддистов и акосмическая любовь христиан, любовь, понимаемая как техника снятия эгоизма, как путь к Богу и как любовь к "ближнему" фундированы во всеобщей человеческой любви.

Пустота смысла, образующего ядро личности, заполняется и фиксируется ее идеальным прообразом – человеком вообще. Теперь человек – это не X, и не жест трансценденции, он – самодостаточный обладатель реальной полноты... Для того чтобы выявить и осуществить для возможной личностной любви находящуюся в человечестве, как в целом, полноту индивидуально-духовных личностных центров и при этом не допустить безосновательного невнимания к кому-либо, нужна всеобщая человеческая любовь..."[1].

Итак, существует идеал человека, в котором априорно учтены все возможности. Эта покоящаяся в себе человеческая норма на самом деле ликвидирует все возможности личностного проявления, оставляя голую действительность лишенного тайн онтологического существования.

Она возвращает нас к неизменности субстанции. И действительно, к концу второго периода субстанциональность присутствует в творчестве Шелера временами даже в явном виде. О колебаниях этого времени пишет В. Гартман: "В немецкой философии сегодня", он (Шелер) причисляет себя к среде антипантеистических

1. [Сноска без содержания.]

[**PAGE 29**]

27.

интерпретаторов души как независимой действующей субстанции". Это обращение становится совершенно ясным во втором издании его книги о симпатии, тщательно пересмотренном, которое появилось в середине 1922 г. Если в первом издании он говорил о личности как о "непознаваемом индивидуально данном единстве всех актов", то сейчас изменяет это определение на "непознаваемое индивидуально – данное единство субстанции ([1]) во всех актах".

Между экстремами превращения личности в вещь, в субстанциональном смысле слова, и растворения ее в актуальности Шелер пытается найти компромисс, настаивая одновременно на ее независимости и факте, что она живет только в своих актах"[2].

Нам же становится ясно, что "вещизм" присутствует как в откровенно субстанциональном подходе, так и в актуалистическом представлении о личности, как о единстве актов.

И здесь и там человек не есть дух или ничто, способное обрести себя только в своей потере, не страшась гетевского "умри и будь". Опыт трансцендирования и непрерывного движения к вечности, столь близкий Шелеру, не нашел здесь своего адекватно-выразительного воплощения. Антиномизм шелеровского мышления обусловлен не только противоречивой природой самого сущего, но и непоследовательностью шелеровской методологии, впитавшей в себя слишком много влияний. Феноменологический принцип корелятивного соотношения реального и идеального, переживания и бытия, принцип предметного анализа часто подменяется психологическими ориентациями философии жизни на уникальность, непознаваемость и невоспроизводимость личного опыта.

1. [Пробел в машинописи.]
2. [Сноска без содержания.]

[**PAGE 30**]

28.

Владимир Алексеев

ПОЭТ И ПРОПИСКА

"Поэт и прописка" – так мы назвали эту маленькую заметку, что заставило нас испытать чувство некоторой неловкости.

Полно, имеем ли мы право ставить рядом эти два различных по смыслу слова, разделив их каким-то незначительным, но столь часто употребляемым союзом "И".

И потом низменность, низменность, в коей первое может утонуть в соединении со вторым. И потом, достойно ли соединить одно с другим, когда слово "поэт" являет нам сразу же слово "поэма", которое не требует никаких привязок и прописок, разве что "хорошая" и "плохая", никаких длительных прогулок в печальную область быта – этот чахлый лес, о котором столь часто и много любят говорить многочисленные "краеведы", создающие некий картонный образ поэта, необходимый скорее обывателю, чем истинному ценителю изящной словесности.

Изящная словесность – где она ныне, на каких полях, на каких топких болотах она ныне вырастает? Да и вырастает ли?

Пять-шесть поэтов, как, впрочем, и всегда было в нашей всеми любимой российской действительности, в нашей всеми любимой медвежьей стране, – вот и вся изящная словесность, окруженная разного рода сателлитами, как бывают окружены несколько белых грибов многочисленными мухоморами и поганками, чья видимая красота иногда может смутить и выдавшего виды грибника.

Мы бы назвали еще трех-четырех прозаиков, трех-четырех имеющих стиль писателей, но не станем – ибо это – поле невидимых глазу айсбергов, которые настолько потонули в воде, что если и торчит что-нибудь сверху, то это "что-нибудь", так занеслось гарью, так занеслось пылью, что скорее напоминает остатки какого-нибудь гнилого зуба, из которого вряд ли уж вырастет

[**PAGE 31**]

29.

готический собор, ибо он не вырос и на развалинах Колизея, а если и вырос, то где-то рядом, где-то в провинции, где-то на периферии.

Пять-шесть поэтов, в коих жив дух свободы, без чего немислимо любое искусство – это уже немало для такой варварской страны, как наша, где еще недавно на тысячу верст был всего один ямщик, да и тот замерзал, так и не доехав до своей возлюбленной, до своей любимой жены, но какую прекрасную и печальную весть о себе он оставил.

Тут пространство и одиночество, тут ширь и снега – тут вся наша азиатская грусть в этой вести! – тут заклатие и жертвенность, ибо может быть ради "этой" прекрасной песни ямщик и отправился куда-то замерзнуть.

Так и с нашими истинными поэтами, с нашими ямщиками российской словесности, с нашими песнопевцами, при имени которых замирает дух не только у любознательных юниц, но и у мужей, чье сердце с достаточным равнодушием и скукой взирает на этот пошлый мир.

Трагична их судьба, трагична и, ныне можно сказать, священна. Роковая страна Россия – убивает она лучших своих детей; делает их мучениками и святыми, страдающими и восстающими, ироничными и злобными, пустыми и холодными, но не привыкшими улыбаться и радоваться жизни, забывая, что существует делимое и делитель; мораль и амораль, а частное зависит от того, что делится на что, и что над чем преобладает.

Вот и ныне судьба наших поэтов без улыбки. Вот и ныне лучший из них – застыл в скорбном полумолчании, выйдя один в поле (и один в поле поэт) российской действительности, и глядя вслед уходящей и всегда могущей возникнуть грозе,

[**PAGE 32**]

30.

вслед уходящей и всегда могущей возникнуть трагедии жизни.

"Вам кажется, я плачу? Я не плачу
Я вправе плакать, но на сто частей
Порвется сердце прежде, чем посмею
Я плакать. Шут мой, я схожу с ума!

(Шекспир. Король Лир).

Ныне каждый из истинных поэтов носит в своей груди одну из сотен частей сердца короля Лира, ныне время Гамлетова безумия, хоть нам и милей Дон-Кихот, хоть и видится он нам иногда в концлагере или в сумасшедшем доме, достойно взирающим "над" и "вдаль" в то время как палачи раскладывают орудия пыток.

Высок будет и тот поэт, кто будет носить в своем сердце не только частицу сердца короля Лира, но и шута – этого с виду легкомысленного проводника в сумасшедший дом или на Голгофу.

Но оставим определения, оставим Голгофу; оставим, наконец, каждому из поэтов решать, по какому пути идти ему и где, на каких полях, сложить свою буйную голову.

И не лучше ли каждому решать, становиться ли ему гражданином мира, или певцом неурожайки тож, не лучше ли каждому решать подниматься ли ему в гору, или спускаться с горы, важно, наконец, не мудрствовать лукаво, важно, наконец, познать самого себя.

Так оставим и это, разве что вспомнить о том поэте, что нам милее, чей голос нам часто слышится – уж не музыкой ли, не мечтой ли он нам явлен, – чья надмирность и примиренность с трагедийной сущностью жизни – своей ли, космоса ли, – позволяет нам мечтать об иных, золотых и голубых красках нашей поэзии, а если, говорят, и существует белый цвет, белый лист святого,

[**PAGE 33**]

31.

то он красив в молчании, ибо там, где открывается вещее слово, если и существует красота камня и огня, но не воды и цветущей земли, что еще свойственно нашему времени.

Нам бы только хотелось, чтобы рядом с трубадурами и вагантами существовали ученые поэты, рядом с реалистами – идеалисты, рядом с буддистами – мусульмане и т. д. И еще нам бы хотелось, чтобы время от времени каждый из них спускался со своего какого-то там этажа и выходил на улицы нашего города, дабы обнявшись друг с другом, мог прогуляться или сообщая плюнуть в наши и без этого не совсем чистые каналы.

Нам бы этого хотелось, но в том-то и дело, что хотеть – это не значит мочь и иметь; по крайней мере, одно мы можем с достоверностью утверждать, что поле нашей литературной действительности, в какой-то мере благодаря недремлющему оку одной богини (читатель, сам догадывайся – какой!) делится на поэтов признанных и непризнанных, чье существование в социальном смысле этого слова гораздо тяжелее существования общепризнанных, ибо общепризнанные в большей мере относятся к иному сословию – тому, где низменное слово, которое мы поставили рядом со словом "поэт", гораздо легче дается, как во времена исторически давние оно легче давалось какому-нибудь юному горожанину, чем какой-нибудь крепостной бабушке, чей возраст и любовь к устному народному творчеству никоим образом не требовали к ней почтительного отношения.

Но времена меняются. На месте деревень выросли города. Бабушки оставляют устное народное творчество и норовят перебраться в город. Мы их видим каждый день, спускаясь со своего восьмого этажа. Они сидят на скамейке, тесно прижавшись друг к другу, словно воробьи или ласточки, тесно сидящие на

[**PAGE 34**]

32.

на проводах.

Странные птицы, они способны вас сглазить, и сглазили бы, если бы и у нас, вследствие трудностей нашей жизни, не было взгляда, подобного их взгляду.

И вот представьте себя: сидят на скамейках перед домами совсем деревенские бабушки и видят, как однажды, в теплый летний день, на наших гранитных берегах, появляется поэт.

Мы уже слышим восклицание: "А где это доказано, что он поэт, где это записано, что он поэт, ведь не на его же физиономии! – или что-нибудь в этом роде. В Орле, а что будет с нашим великим городом, если в один прекрасный день в нем окажутся сразу все поэты, и даже те, кто считает себя таковыми?"

В том-то и дело, что в наше достопочтимое время скорее поверят, – что ты дворник, а утверждение, что ты поэт, может вызвать лишь только смех.

Вот и приходится поэту столь часто скрывать, что он поэт и говорить, что он – не кто иной, как сторож, что в свою очередь тоже может вызвать подозрения.

И все-таки мы ныне смеем утверждать, что однажды на наших берегах, а вернее на наших новостройках появляется поэт. Большой или маленький – не будем утверждать, пускай разбираются потомки литературоведы; впрочем, нам думается, что он входит в названное нами число пяти-шести российских поэтов.

Не станем называть его имени.

Скажем еще раз только одно – что однажды он появляется на наших берегах, чтобы уж никогда больше на других берегах не появляться.

Он когда-то уже бывал, и не раз бывал в нашем городе – вот отчего он снова здесь, а может быть и потому, что поэту нужна среда, нужно общение с подобными, нужна культура –

[**PAGE 35**]

33.

библиотеки, так сказать, выставочные залы...

У него где-то там, на юге осталась жена, где-то на юге осталась семья, а он вот – здесь, на наших гранитных берегах, ибо, хоть здесь и не столица, не Москва, но все-таки Петербург, хотя и бывший.

Тут вот должно быть чрево культуры, тут вот должен быть Университет, и набережная, и Дворцовая площадь, тут вот и Медный всадник встал, и Большая публичная библиотека, в которую нашему поэту ныне доступа нет, ибо не закончил он свое высшее образование. Тут, наконец, и пыль прежних годов, золотых и серебряных годов – тут вам, наконец, и фонарь, и улица, и аптека, да еще многое тут есть – вот, например, зоологический музей, в котором бедные звери сохнут на своих постаментах.

Да, многое тут есть, а главное, что душа поэта давно уже стремилась с каких-то живописных полей, с каких-то зеленых и синих виноградников в нашу туманную петербургскую даль, в нашу ленинградскую графику – шпили, читатель, куда не кинь свой взгляд, везде одни шпили...

Представьте себе: приезжает Пушкин из Кишинева, – и вдруг, – бац, извольте ехать обратно, Александр Сергеич, да и побыстрее, да и с подорожной.

Представьте себе: Лермонтов и прописка. Маяковский и какой-нибудь город Куйбышев или Орел, а в Москву – ни ни, разве что проездом. Извольте – живите себе в каком-нибудь Новосибирске или Торжке, а так – нет.

Нет, конечно, Маяковского нельзя себе представить без Москвы, а Есенина – без Англера; а вот Мандельштам ныне без Воронежа никак представиться не может, да и какого Воронежа!

Ну да ладно – тут она начинается – измененность. Тут вам

[**PAGE 36**]

34.

засевшим в слоновую кость – мол, не мешайте мне работать, не мешайте мне ловить дух, – тут вам мы ныне и можем сказать: "Вот оно [1] слово нашего века: ночи переночевать не дадут, а если и дадут, то, мол, иди-ка ты, милый, на вокзал, мы за тебя молимся и страдаем."

Да, нас всегда поражало – одиночество!

Вот, например, ходит себе поэт по невским берегам, и некуда ему пойти. Он бы, может, куда и пошел, да опять это низменное слово, опять эта антитеза, опять эта прописка, опять на тебя будут смотреть – и как смотреть: кто ты такой, скажут, да и способен ли к какому-либо труду, когда у тебя последнее место работы – художник, да и кроме того, нам рабочие нужны, у нас рабочих рук не хватает...

Он смирен ныне, наш поэт, он ничего такого особенного не хочет, ему бы сторожем куда-нибудь устроиться, или дворником; ведь время ему нужно – вот в чем дело – время и угол, чтобы было где жить, по возможности, и творить...

У него там где-то семья в провинции, ему бы поскорее устроиться на работу и устроить свою семью, а он ходит туда и обратно мимо бабушек, которые на него смотрят, и никак ему не устроиться.

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Вот тебе и трудовая, тема, вот тебе и фратерните, эгалите и люарт. Вот вам холодное всеобнимающее одиночество большого города, где миллионы обывателей мнут рубли и трешки, жуют колбаску, хвалят любовь и ласку – и где нет места одному поэту, приезжающему из другого города. Вот вам – и вся ваша добродетель, и вся ваша мораль, вот вам и "все мы выросли из шинели" вот вам, наконец, и штабс-капитан Копейкин, и вот вам сумасшедший дом, и хохочущий гнилыми зубами: О, Илаяли!..

Да, Илаяли, а Илаяли где-нибудь сидит в спецотделе

1. [Пробел в машинописи.]

[**PAGE 37**]

35.

(о, низменность, о, реализм) и говорит, ты мол, мне выложи, определенную сумму и тогда ... и тогда в брак, так сказать, и тогда (отвращение!) прописка.

Так найдется ли хоть единая живая душа, чтобы понять отчаяние поэта, отчаяние проходящего по горлу, и хоть не грызущего сырую кость, как герои Илаяли, но все-таки непричастного...

И все-таки, хочется верить, что как раз Илаяли-то есть в этом городе, как раз Илаяли-то... но тут мы решаем закончить разговор о поэте и прописке, ибо он унижает нас, угнетает нас, портит нам настроение, вот поэтому мы и решили его закончить...

И вот теперь, в заключение этих слов, возьмем же мы на себя смелость сказать, что нас подвигало на этот разговор не столько желание обличать, (хватит обличителей!), сколько желание мысленно протянуть руку всем униженным и оскорбленным, бездомным и благородным, сохранившим чувство прекрасного в наш век отчуждения и одиночества, и смотрящим в бессмертие спокойными глазами, как смотрит тот, кому посвящены эти строки, кто проходил по этим гранитным берегам, по мокрым гранитным берегам и чья душа навсегда связана с этим городом, который его не принял, городом чье имя – Ленинград.

Ленинград[1]

Не мы завоевали Ленинград,
А он – мгновенно и непоправимо –
Фальцетом исторгаемых рулад
И шепотом четверостиший над
Громоздкими крылами серафима,
Собрав в комочек векового дыма
Витиеватых озарений чад

1. Стихи печатаются без согласия автора – А. Ожиганова, ныне живущего в г. Куйбышеве.

[**PAGE 38**]

36.

А саженцы так зелены! – для них
Копая и коплю тепло и влагу,
И пестую словарь, и жду других,
Свой юго-западный полумолдавский стих
Переношу на бледную бумагу,
Серо-малиновую каменную сагу,
Тревожу пением сирен морских.

И если есть Одесса и Лиман,
Тирасполь, Херсонес, Назон и Фивы,
Густой адриатический туман
Изроет берега союзных стран,
Переводя приливы и отливы
За полукруг аттической оливы
Для ленинградцев и для молдаван.

Сандалия твоя, легионер,
Поправ косматых бриттов, не ступала
На берега Невы. Я – пионер,
Ветвь боковая, Мальчик понял,
Просто пастух, оглохший от металла
Когда над стадом вымерших пантер
Империю седая пыль лежала.

Но если есть какая-нибудь связь,
То связь корней и крон, при раздвоеньи
Стволов. И ты – не пастушок, а князь:
Под властью у тебя двойная связь:
И новое слоистое растение.
За кругом круг! И дальше – в средостенье
Кругов, над нежной завязью клонясь!..

[**PAGE 39**]

37.

Аэрофлота угловой фрегат –
Темнее кофе, дружественней моря –
Предоставляет все, чем он богат:
Полуморской, полувоздушный сад –
Ростки усердия, радости и горя.
Когда молчим, с ним невпопад не спорим,
Плывем и с ним не спорим невпопад.

И возвращаясь на круги свои
Я пью нездешний воздух Ленинграда
За несколько шагов от бытия,
За несколько стихов, которых я
Еще не написал. Их и не надо.
Ведь все, что следовало взять из сада,
Взяла сырого воздуха струя.

[**PAGE 40**]

38.

Елена Шварц

ПЛАВАНЬЕ

Я, Игнаций, Джозеф, Крыся и Маня
В теплой рассохшейся лодке
В ослепительном плыли тумане,
Если Висла – залив, то по ней мы, наверно, и плыли,
Были наги – не наги, в клубках розовой пыли,
Видны друг другу едва как мухи в граненом стакане,
Как виноградные косточки под виноградной кожей –
Тело внутрь ушло, а души как озими всхожи
Были снаружи и спальным прозрачным мешком укрыты.
Куда же так медленно мы – как будто не плыли, а плыли.
Долго глядели мы все на скользившее мелкое дно.
- Джозеф, на лбу у тебя родимое что ли пятно?
Он мне ответил и стало в глазах темно.
- Был я сторожем в церкви святой Флориана,
А на лбу у меня – смертельная рана,
Выстрелил кто-то, наверно, спяну.

I

Видишь – Крыся мерцает в шелке – синем, лиловом,
Она сгорела вчера дома под Ченстоховом
Вся она темная, теплая как подгоревший каштан

2

Что он сказал про меня – не то, чтобы было ужасно –
Только не помню я что – понять я старалась напрасно,
Не царапнув сознания – его ослепило,
Обезглазило – что же со мною там было?
Чтобы там ни было – нет, не со мною то было.
Скрывшись привычно в подобии клетки
Три канарейки – кузины и однолетки,
Отблеском пения тешились. Подстрелена метко

[**PAGE 41**]

39.

Сгорбилась рядом со мной одноглазая белка.
Речка сияла и было в ней плитко так, мелко.
Ах, возьму я сейчас канареек и белку,
Вброд перейду – что же вы, Джозеф и Крыся?
Берег – вон он – еще за туманом не скрылся.
- Кажется только вода неподвижным свеченьем,
Страшно как током ударит теченье
Тянет оно в одном направленьи
И ты не думай о возвращеньи
Белкина шкурка в растворе дубеет,
В урне твой пепел сохнет и млеет.
Что там? А здесь солнышко греет.
- Ну а те, кого я любила
Их – не увижу уж никогда?
Что ты! Увидишь. И их с приливом
К нам сюда принесет вода.
[1] ³ то, [2] ⁴, из Штрауса обрывки.
Вода сгустилась вся и превратилась в сливки!
Но их не пьет никто. Ах, если бы ты мог
Вернуть горячий прежний гранатовый наш сок,
Который так долго кружился, который – всхлип, щелк –
На сердца и в сердце – подкожный святой уголок,
Красная нитка строчила, сшивала творенье Твое!
О, замысел один кровообращенья –
Прекрасен ты как ангел мщенья.
Сколько лодок, сколько утлых кружится вокруг
И в одной тебя я вижу, утонувший старый друг
И котенок мой убитый – на плечо мне прыгнул вдруг
Лапкой белой гладит щеку –
Вместе плыть не так далеко.

1. [Пробел в машинописи.]

2. [Пробел в машинописи.]

[**PAGE 42**]

40.

Будто скрипнули двери –
Весел в ключинах вздет.
Темную душу измерить спустится ангел как лот...

Примечание: I. Стихотворение "Плаванье" приснилось с подписью В. Анигутько

Примечание II: Перевод:

- 1/ Уже нету тела, а голова болит /польск./
- 2/ Что сделали с тобою, бедное дитя /Гете/
- 3/ И есть навсегда (Байрон)
- 4/ музыка гремит (польск.)

[**PAGE 43**]

41.

МОИСЕЙ И КУСТ, В КОТОРОМ ЯВИЛСЯ БОГ

О Боже – ты внутри живого мира
Как будто в собственном гуляешь животе
В ужаснувшемся кусте
Пляшут искорки эфира.
Как скромн ты!
Каким усиьем воли
Ты помещаешься
В одном кусте – не боле.
Как ты стараешься себя сгустить
И ангелов тебя поддерживают крылья,
Чтобы нечаянным усиьем
Всего творенья не спалить.
Куст по твоим законам жил
Их затвердив как все, как все
По осени он цвел дождем
И сыпью розовой по весне
Необжигающим огнем
Теперь осыпан как во сне.
Бог Авраама, Бог Иакова,
Творец и крови и Венеры
Тебе не надо светлой Авеля
Души, ты ищешь не любви, а веры,
Но только внутреннюю силу...
Вот Моисей – он прям и груб
Его, конечно, до рожденья
Уже ты пробовал на зуб...

[**PAGE 44**]

42.

Вот Бог уходит на восток
Такое чувство у куста
Как будто выключили ток,
Как будто плеть его пуста,
Приходит ангел – он садовник,
Он говорит, стирая пыль с куста:
Расти, расти, цветы терновник
Еще ты нужен для Христа.

[**PAGE 45**]

43.

В. Кривулину

БУРЛЮК

Удивленье
В миг рожденья –
А там уж бык привык,
Что он из круга в круг
Из века в век –
Все бык.
Нодохнул в свой рог
Дух мощный вдруг
И бык упал
И встал Бурлюк.

О, русский Полифем! Гармонии стрекало
Твой выжгло глаз,
Музыка сладкая глаза нам разъедала
Как мыло и твой мык не слышен был для нас.

Явился он – и Хаос забурлил
И асимметрия взыграла,
Дом крепкий, ясный блеск светил
Все затряслось как лодка у причала.

Промчался он ревушим Быкобогом,
Уже безмясый, но живой,
Как перед пьяным – ввысь дороги
Меж туч клубится орган половой

Бывают времена – они свою дитятю
Лелеют, нежат, в хлебе запекают
Горячем. Педантичный дух
Во чревах обходя младенцев
Им уши протыкает.

[**PAGE 46**]

ЧЕРНАЯ ПАСХА

I. Канун

Скрепление луж, как стадо мух,
Над их мерцанием и блеском, над расширяющимся плеском
Орет вороний хор.
И черный кровоток старух
По вене каменной течет вдоль глав и притвор.
Апрель, удавленник, черно лицо твое.
Глаза серей носков несвежих,
Твоя полупрозрачна плешь,
Котел – нечищенный, безбрежный
Где нежный праздник варят для народа –
Спасительный и розовый кулеш.
Завтра крашеные яйца,
Солнца легкого уют,
Будем кротко целоваться,
Радоваться, что мы тут.
Он воскрес – и с ним мы все –
Красной белкой закружились в колесе
И пылинкой в слепящей полосе.
А нынче, нынче все не то,
И в церкву не пройти,
На миг едва-едва вошла
В золотозубый рот кита-миллионера –
Она все та же древняя пещера,
Что, свет сокрыв, от тьмы спасла,
Но и сама стеною стала,
И чрез нее, как чрез забор,
Прохожий Бог кидает взор.
Войдешь – и ты в родимом чреве:

[**PAGE 47**]

46.

Еще ты не рожден, но ты уже согрет
И киноварью света разодет.
Свечи плачутся, как люди,
Священника глава на блюде
Толпы – отрубленной казалась,
В глазах стояла сырость, жалость.
Священник, щука золотая,
Багровым промелькнул плечом,
И сердца комната пустая
Зажглась оранжевым лучом.
И, провидя длань демиурга
Со светящимся мощно кольцом,
В жемчужную грязь Петербурга
И кротко ударю лицом.
Лапки голубю омыть,
Еще кому бы ноги вымыть?
Селедки выплюнутая глава
Пронзительно взглянула
Хоть глаз ее давно потух,
Но тротуар его присвоил
И зренье им свое удвоил,
Трамвай ко мне, багрея, подлетел
И, как просвирку, тихо съел.
Им ведь тоже, багровым, со складкой на шее,
Нужно раз в году причаститься.

II. Где мы?

Вот пьяный муж
Булыжником ввалился
И, дик и дюж,
Заматерился.

[**PAGE 48**]

7.

Он весь, как божия гроза:
"Где ты была? С кем ты пила?
Зачем блестят глаза твои
И водкой пахнет?"
И кулаком промежду глаз
Как жажнет.
И льется кровь, и льются слезы.
За что, о господи, за что?
Еще поддаст ногою в брюхо,
Больной собакой взвизгнешь глухо
И умирать ползешь,
Грозясь и плача, в темный угол.
И там уж волю дашь.
Откуда он в меня проник,
Хриплый, злой, звериный рык?
Толпой из театра при пожаре
Все чувства светлые бежали.
И боль, и ненависть жуешь.
Когда затихнешь, отойдешь
Он здесь уже, он на коленях,
И плачет, говорит: "Прости,
Не знаю как... Ведь не хотел я...
И темные слова любви
Бормочет с грустного похмелья.
Перемешались наши слезы,
И я прощаю, не простив,
И синяки цветут, как розы.
.....
Мы ведь – где мы? В России,
Где от боли чернеют кусты,
Где глаза у святых лучезарно пусты,

[**PAGE 49**]

8.

Где лупцуют по праздникам баб...
Я думала – не я одна –
Что Петербург нам Родина – особая страна,
Он – запад, вброшенный в восток,
И окружен, и одинок,
Чахоточный, все простужался он,
И в нем процентщицу убил Наполеон.
Но рухнула духовная стена –
Россия хлынула, душна, темна, пьяна.
Где ж Родина? И поняла я вдруг:
Давно Россиею затоплен Петербург.
И сдернули заемный твой парик
И все увидели, что
Все тот же царственный мужик,
И так же дергается лик,
В руке топор,
Расстегнута ширинка –
Останови же в зеркале свой взор
И ложной красоты смахни же паутинку,
О, Парадиз!
Ты избяного мозга порожденье,
Пропахший щами с дня рожденья,
Где же картинка голландская, переводная?
Ах, до тьмы стая мух засидела родная
И заспала тебя детоубийца.
Порфиросная вдова,
В тебе тамбовский ветер матерится
И окает, и цокает Нева.

[**PAGE 50**]

9.

III. Разговор с жизнью во время

тяжелого похмелья

Багрянит око
Огнем восток
Лимонным соком
Налит висок.
И желт состав,
Как из бутылки,
Пьет жизнь, припав
Вампиром к жилке.
Ах, жизнь, оставь,
Тебе я руку ли не жала,
Показывала – нет кинжала,
А ты не унялась...
И рвет меня
Уже полсуток,
О, подари хоть промежуток –
Ведь не коня.
Ну на – терзай, тyani желудок к горлу,
Все нутро – гляди, в нем тоже нет оружия,
Я, неопасная, я твоя,
Хоть твоего мне ничего не нужно.
Но, тихая, куском тяжелым мяса,
Она прижмется вся к моим зрачкам:
Жива ль она? Мертва? Она безгласна,
И голос мой прилип к ее когтям.
И, как орел, она несет меня
Знакомыми зелеными морями,
Уронит и поймает, вновь, дразня,
И ластится румяными когтями
Как сердце не дрожит,

[**PAGE 51**]

50.

Но с жизнью можно сжиться:
То чаем напоит,
То даст опохмелиться.

IV. Искушение

Воронкой лестница кружится,
Как омут – кто-то, мил и тих,
Зовет со дна – скорей топиться
В камнях родимых городских.
Ведь дьяволу сверзиться мило,
И тянет незримо рука
Туда, где пролет ниспадает уныло
Одеждой моей навека.
Он хочет, он хочет вселиться
И крови горячей испить,
И вместе лететь и разбиться
По камню в истоме разлиться,
И хрустнуть, и миг, да не быть.
Но цепь перерождений –
Как каторжные цепи,
И новый облик душу,
Скокетничав, подцепит.
Ах, гвоздь ведь не знает,
Отчего его манит магнит,
И я не знаю, кто со дна
Зовет, манит.
Может, кто-то незримый, родной,
И так же, как я одинок...
Торговцем злобный сатана
Чуть-чуть меня не уволок,

[**PAGE 52**]

51.

Конфетой в лестницы кулек,
Легко б лететь спьяна.
Но как представить эту смесь –
Из джинсов, крови и костей,
Глаз выбитый, в строке крестик...
Ах, нет, я думаю, уволь.
А мы – зачем мы воскресаем
Из боли в боль.
И кровь ручонкою двупалой
Святящейся и темно-алой
Тянется в помещенье под лестницей, где лопаты и метлы
Там-то ее и прищемили,
Там ее пальчики засохли.

V. На утро

Я плыву в заливе перезвона,
То хрипит он, то – высок до стона.
Кружится колокольный звон,
Как будто машет юбкой в рюшах,
И круглый, как баранка он,
Его жевать так рады уши.
Христосуется ветер и, косматый,
Облупливает скорлупу стиха,
И колокольня девочкой носатой
За облаками ищет жениха.

VI. Обычная ошибка

Сожженными архивами
Кружится воронье,
На площадь черно-сивую
Нет-нет да плюнет солнце.

[**PAGE 53**]

52.

И кофеем кружит народ
На городских кругах,
И новобранцем день стоит,
Глядит в сухих слезах.
Бывают дни, такие дни,
Когда и смерть, и жизнь
Близнятами к тебе придут,
Смотри, не ошибись.
Выглядят они просто –
На них иссиние пальто,
Торжковского пошива,
И обе дамочки оне
Торгового пошиба.
Губки крашены сердечком
И на ручках по колечку,
И я скажу одной из них –
У ней в глазах весна:
"Конечно, ты еще бы – жизнь,
Ты, щедрая, бедна".
Но вдруг я вижу, что у ней
Кольцо-то на кости.
И на коленях я к другой:
"Родимая, прости!"
Но в сердце ужас как поет
Жужжит сталь остря.
Бумагу слово не прожжет
Лишь пожелтит края.

3 апреля 197 г.

[**PAGE 54**]

53.

Виктор Кривулин

ПРИБЛИЖЕНИЕ ЛИЦА
(стихи лета-осени 1975 г.)

I

Кто переплыл египетскую тьму,
светящиеся веслы утопляя
в активный мрак, не равен самому
себе. Но крик подобен краю
другого берега – и выдвинется вдруг
светящаяся полоса прибоя ...
Кто переплыл себя, как перенес недуг, -
он движется вперед, повернутый спиной
к пределу плавания – камню.
Но перед ним – серебряной трубы
растущий раструб, след его. Губы
касается мундштук, стесненному дыханию
лишь узкий выход – музыка. И вот – как
память духа, вложенная в рот
умершему (продолговатый камень),
как палец духа, схваченный зубами,
прикушенный – как черный камень духа,
чье имя, охраняющее нас,
похоже и на солнце, и на глаз,
на плавание посуху... Кто слуху
не доверяя, зренье отстранив,
увидит с ужасом, что высохшее русло
он переплыл, что впереди обрыв
и весла в пустоте, и в сердце – пусто, –
к тому приступит прежняя пора
отплытия и отдаленья...

[**PAGE 55**]

54.

И накренься под тяжестью и тенью
фигуры на корме (жена или сестра),
тьма – лодка маленькая – от огромной тьмы
отъединилась. Плыли по ночам
из тела, из разрушенной тюрьмы,
из глины и воды первоначал
высвобождаясь. Плыли. Покидали
похожими на брошенные платья
на берегу свои тела в объятьи,
в песке, что липнул и скрипел под нами.
Чье имя окружало нас тогда?
Текло под ногами? Рассекалось нами? –
Жена или сестра? Не размыкая глаз,
из губ не изымая камень,
от губ распухших не отымешь губ.
Мертвы ли мы в любви, когда живыми
касаемся друг друга – точно труп
коснулся трупа? Чье, послушай, имя?
Чье имя? Чье же именно? А, чье –
ты повторяешь, весла погружая
светящиеся?.. Речка мудрая
ответит: Вот египетская речь.

2

Пророк

Я хотел кричать, но голос
был гусиное перо.
Невесомость речи, голость.
Ветер, обжигающий бедро.
Хоть немного зелени прикрыться!
Я хотел кричать – но голос
был гусиным. Эта птица

грязно-белая и сизое нутро
ходит над небесною водицей
лужи, крытой синей черепицей –
дом наш. Господи! адамово добро!
Лужи и заборы, лужи и заборы...
Я хотел кричать, но забран в жесткие ладони Флоры,
он одежд лишился и опоры –
голос мой, он возвратился к жабрам
из гортани. И сказал Господь:
Вот я дал и отнял. Дал и отнял.
Что твое перед лицом Господним?
Что твое? Ты встанешь и пойдешь!
Я хотел кричать – но рта
не было. И ни одна черта
камня моего не бороздила,
только била внутренняя дрожь –
всем составом связанная сила.
Так часы, обнявшие запястье –
не сосуд со временем, но знак,
что и нас пронизывает мрак, рассекая
на чужие части.
Как часы, я встану и пойду.
Вот я стал и вышел и кричал,
словно камень, плавимый в аду,
и вода, сведенная в кристалл.

3.

Я начал – и оборвалось. И пауза позвала.
Звенит земли железный купол
из колокольного металла.
Струна становится пружиной

[**PAGE 57**]

56.

в часах, идущих одиноко
среди механики причинной
и вихрей временного тока.
Струна становится спиралью,
вонзая форму в пустоту,
где пауза раскрытой далью
прикладывается ко рту. –
Всего так много! Драгоценен
лишь этот узкий промежуток
между возлюбленной и тенью
возлюбленной – ни на минуту
не уступающая разность
источника любви с подобьем
любви, в которой не опознан
предмет, но полон и подобран
аккорд, казавшийся разбитым.
Тогда струна, подобна ребрам,
опора сердце и защита.
Тогда ценой изнеможенья
мы достигаем, что молчим
над полнотою обнаженья
всей жизни, явленной двоим,
всей – что пришла и отступила.
Прекрасное оборвалось
разоблаченье скрытой силы:
сквозь видимое красоты
небесные проступят жилы
и напряженные черты.

[**PAGE 58**]

4.

57.

Еще Орфей

Воскликни: как мало!
Оскудевающий случай.
И ты восклицаешь: как тихо –
так тихо, что лучше не слушай, –
закутана в одеяло
прямая идет Эвридика.

Правда, кипела скала,
все ревело, все жило,
в многосложные строфы слагалось.
Вот Орфей – механизма родная пружина,
Орфей – состояние числа,
неделимого на два – на Космос и Хаос.

Вот родина – Хаос вина,
черной кости Малага –
мало! В горле стоит – мало. Темный
собирается случай у каждого шага,
пьяно, пьяно ступая ... Тесна
оболочка для облака мысли огромной.

Двое к берегу вышли
из-под кисти Эль Греко.
Завихрясь к высокому центру вселенной,
в искаженной пропорции два человека –
кто же смертный? Кто ближний?
Больше неба он и разорванной пены.

Ближе, ближе, вплотную!
Ослепительной вспышкой – белила.

[**PAGE 59**]

58.

Солнце мифа растет, пожирая
обесцвеченные светила.
Боги сходят на землю – но землю иную:
берега и языка, светотени и края.

О, правильность образа – двое!
Вот Орфей, вот пальто Эвридики –
мир семейных альбомов... Как мало
фотография помнит о лице –
одно одеянье прямое,
в дешевых цветах покрывало.

Ближе, ближе – вплотную,
Орфей пограничен
с каждым шагом, в любой промежуток,
в освещении словесности нищем –
тихо слышишь, как тихо – рискуя
стать никем не услышанным временем суток,

гулом, гулом сплошным
подсознания и сна.
И над ясным лицом – как затмение –
проплывает рука, Эвридика, страна,
столь чужая Элладе – с каким-то больным
отношением источника с тенью.

5.

Плоская чаша. Вода
в тонких морщинах
и на дне выступил камень –
все просто и все навсегда
возникая

[**PAGE 60**]

59.

возникло. При чем тут причина?

Плотскую чашу качнув,
боль причиняешь.
Плавает глаз на поверхности ока –
два слоя, и словно очнусь
ночью. Ночная
несотворенность, утрата истока.

Кто я, со зреньем двойным,
среди объектов
зримого строя? Германец на улицах Рима?
Пятый по счету, наверное, Рим
длится и все, кто
жили под сетью и как бы незримо,

кто созревали впотьмах,
каплей наполнясь...
В каменной чаше тесно и прозрачно –
и ледяное сознание в губах. –

Рыбацкая повесть.
Мертвое озеро. Лодка и облако.
Взмах и удар. Опустилось весло.
Трое в белых рубахах –
совершеннейшее число,
трое.

Лодка и берег, и волны животного страха.
Речь мою с трудом свело.
Зубы колотит по краю
вогнутой чаши. Пришли
все, кто царапнул

[**PAGE 62**]

61.

но помещенное в неровный желтый свет
искажено изображенье.
Свеча у зеркала. И силой обожанья
из темноты, из глубины согрет
любой – он восковый теперь – предмет,
он больше, чем горяч. Он – сердцевина жженья.

7

Сон Иакова

Две темы – возвращенья и ухода
две темные картины,
где глиняные движутся кувшины
вокруг источника, до сердцевины
расколотого. И одна свобода –
уйти и возвратиться.

И ангел над источником крыло
неловко поднял – ангел, а не птица,
не человек, но ангел отразится
в потоке темном тихо и светло.

Ты светел, о скажи, ты светел? Две картины,
зеркально симметричные друг другу.
Иаков спит, уйдя, подобно плугу
на половину в почву, и по кругу
гончарному движенье смертной глины,

вращение аморфной вязкой массы
под любящими пальцами Творца
творится в теле спящего. Grimаса
расколотой скалы – и ангел златовласый
над сладостным источником лица

[**PAGE 63**]

62.

8

Иона

Пенный раскрытый сад Левиафана,
ты помнишь голову пловца,
плечо, мелькнувшее и пятнышко лица
на гребне маслянистого органа?

Дыхание и расширение гула
за пленку, ограничившую слух.
Я поднят и обрушен – и мелькнуло
лицо чудовища. В надвинувшихся двух

очах кипенья – мука и пространство,
и я себя увидел перед Ним –
два черных поплавок, спасавшихся напрасно,
два человека бывшие одним.

9

Старик

Старик. И тишина скрипит.
Он превращается во что-то больше тела.
Хотя бы комната расширится успела
до косточки игральной на столе,
Пока старик ее не заместит
собой кубическим! В единственном числе
предметы и дела являются ему.
О, что бы увлажнило эту сухость,
где, узнаваемы по кашлю и по стуку,
старик и тишина – любовном созерцании
друг друга – сквозь тончайшую тьму
сближают треугольные сердца.
Пределом человека виден дом
как форма, исключившая течение,

[**PAGE 64**]

63.

земного времени – как форма заточенья
пространства – в точку, перехода – в место.
Старик на лестнице. И обладая ртом,
он бы хотел продлиться и телесно,

Под именем своим. Но деревом сухим,
поленом в печке сделался язык.
И тишина, в которую проник, его
смирив, заговорила им:
Ты – смерть, соединительница губ!
Ты кровля Господа, венчающая сруб.

10

В пустыне

Слава Богу, словесность в упадке,
и больной в одиноком жару
на высокий язык лихорадки
переводит: Я весь не умру.

Вьются веси и стогны стекают
в ложе сна. Между явью и сном
трудно сложено тело. В больном
пламень творчества не иссякает.

И в агонии, в койке, в огне
желчь иврита и горечь латыни
он пригубил – как некий в пустыне
был погублен и ожил втройне.

11

С вопроса

С вопроса: а что же свобода?
До воя, до крика: Я свой!
Не время прошло, но природа

[**PAGE 65**]

64.

сместила кружок меловой.
Во весь горизонт микроскопа,
страну покрывая с лихвой,

стеклянная капля потопа
под купол высоко взяла
вопрос, нисходящий на шопот,

прозрачней и плоче стекла.
Лицо ледяное приплюсну:
что было? Какого числа?

Известной только изустно,
по клочьям, по ломким листкам,
в кружках сопричастных искусству,

в губах, сопредельных устам,
известное лишь белизною
название времени – храм –

пространство займет речевое
и костный состав укрепит
где известью, где и слюною –

но схватит. Но держит. Но спит
единство тумана и кровли,
шрифта и поверхности плит

надгробных. И ты обусловлен
подпольем. Ты полночь письма
при свете вечернем торговли,

при гаснущем свете ума
ты спрашиваешь у страха:
какая грозила тюрьма

подпольному зренью монаха

[**PAGE 66**]

65.

слепца монастырских ворот?
Катилась ли под ноги плаха

отпущенному в расход
у липкой стены подвала,
где сточная слава ревет?

Тогда и спроси у кристалла,
что горечью был растворен, -
где точка твоя воскресала,
в каком перепаде времен?

12

Приближение лица

Изборожденное нежнейшими когтями
лицо приблизила – старуха!
Кто именем зацеплен меж людьми,

имеет преимущество для слуха
и зренья. Учебники имен
звучат наполненно и глухо,

как будто говорящий помещен
в пивную бочку и оттуда
вещает окончание времен –

Под обручем тучнеющее чудо.
Мой слух наполнен будущим вином,
мой ветхий слух насколько можно чуток –

все имена сошлись. И в семени одном
уже бушует лес, уже мертвеет осень.
Но разве мы во времени живем –

мы, лишь местоименье при вопросе,
живем ли вообще? Она сама,

[**PAGE 67**]

66.

как поле в бороздах, засеянное озимь,

приблизилась. Нагрязнула зима
истории. О, старчество ребенка
на льду реки фламандского письма! –

Он безымянней дерева. Так тонко
его сознание с небом сплетено,
что рвется и скрежещет киноплёнкой,

цепляясь за историю кино;
коптя, цитируя – и возвратясь к истоку,
находит камеру, входящую в окно,

находит позу, нужную пророку,
в его профессии предречь
фронтальный поворот к востоку.

Он безымян. Его живая печь
окружена зимою. Словно бочка,
он полон речью внутреннюю: лечь

лицом в сугроб (я только оболочка
для дара тайного!) и слушать, как шипит,
как тает снег, потоплевает почва.

Но встал, отснят. Переменился вид
С такой поспешностью, что не осталось веры:
что ни сказал бы – как ни говорит.

Горящий куст – на горизонте серой
равнины речи – как бы ни пылал,
ничто не превышает меры,

Не прибавляет имени к телам.
Ничто не Имя и никто не имеет,
и я – от "мы", разбитых пополам,

[**PAGE 68**]

67.

осколок мыслящий. Когда она придвинет
лицо, исполосована когтями, —
что мы? — я спрашиваю, что сегодня с нами?

Все историческое — вот оно — с ними!
Живущие вне ряда и вне рода
одной любовью, кажется детьми
и третьего не достигают года.

[**PAGE 69**]

68.

Георгий Сомов

(глава из романа)

1

Еще, кажется, ничего не зная, ничему не учившись, с незыблемой ребяческой уверенностью убежден был Николай Павлович: в Царском – брат; потом, когда подросток чуть, узнал больше: в Царском двор; дожив же до отроческих лет, иногда прибавлял спешно: строение Растреллиево, а, когда после декабря двадцать пятого взошел волею божией на престол российский и непременно сделалось его ежелетнее присутствие с семьей в Царском селе, ужаснулся, по-настоящему понял – зеркала! Весь как приземистая, в длину вытянутая голубенькая табакерка, необыкновенно уютный и казовый снаружи, внутри дворец графа Растрелли холодно сходил с ума от неисчислимости ледяных отложений, рождающихся на каждом шагу, живущих повсюду неожиданно и нагло. Уже с самого раннего утра, когда после чаю или кофе, туго, на весь день в мундир забранный, проходил куда-либо бесконечною анфиладою зал Николай Павлович, опережал его слева, справа, в ногах и, кажется даже над головой, точно такой же точно, как и он сам, император всероссийский. Расчетверившийся двойник этот всегда на полкорпуса впереди Николая Павловича шествовал. Ростом был завидно высок, упруг грудью и выражение надменного лица своего – в отличие от живого, от бедного Романова! – никогда не менял, хотя и случалось ему страдать крепко: то он напрочь терял голову (были во дворце и низенькие зеркала), то лишался рук (наплывали тогда по ходу редкие, глухие, лишь живописью да лепниной украшенные простенки). Стараясь не косить по сторонам и прикрывая, будто усталые, глаза свои, все же не мог монарх не видеть, что, как не спешит он, а наглый самозванец уже подстерегает его

[**PAGE 70**]

69.

величество на выходе, кривляется в малюсеньком оконце над дверью и узурпирует уверенно утреннюю прогулку. Повторялось подобное ежедневно, и смертельно уставал от этого Николай Павлович и думал в тоске, что так же вот и любое слово его либо действие бродит по Руси, начинается величием дворцовым и кончает, вволю насладившись подобием своим в различных департаментах да присутствиях, шутовством кабацким. Потому и не любил Романов маленькое, тщательно зеленью поросшее, Царское село, ненавидел.

... В тот день, летом 1831 года, с утра еще – на счастье, видимо – ничто не растревожило государя. Утро без денницы занялось матовое и душное; покои дворца в тенях, как в испарине стояли. Чувствуя вокруг себя лишь тишину податливую да полумрак, Николай Павлович – за всем-таки не усмотришь! – душой подразмяк, разнежился, какие-то на кивер кирасиров контуров похожие цветы вспомнил, завтрак на одиннадцать минут затянул, сливок себе в чай долю неположенную долил, на спинку стула откинулся, добровольную муку мыкая, немедля одернул себя, в назидание тотчас же и пеню наложил: мысленному взору своему представил далекий отсюда кабинет рабочий в Зимнем... все ящики, ящички, там-сям медью ковано, резная панель дубовая по стенам стелется, а слева от стола, в углу – это особенно берег он – трещина червеной зарубкой, в середину ее – далеко куда-то – взгляд не проникает, там от ровного блеска лаку – отдохновение, нутро там темное, полагать надо, теплое, там... Но более уже не было нужды школить себя: езды захотелось в обыкновеннейшем в нос слегка – голосом велел государь заложить себе одноместную открытую колясочку, звонкое английское чудо, самого Фаэтоно истинно достойную.

[**PAGE 71**]

70.

Проводить мужа медленно спустилась императрица.

- Улыбнись, – ласково попросил ее Николай Павлович, твердою рукою беря поводья.

Кроткие глаза Александры Федоровны встревожились – давно уже знала она о муже более, чем то любые слова откроют.

- Не умею я, – почти без голоса уста ее выдохнули.

- Ну, тогда я к обычному моему часу, – опять-таки, словно наперекор чему-то – будто приказал – сказал Николай Павлович, и мигом в тени аллеи погас лак английский: за близкий поворот скользнула колясочка.

В плотной истоме – без солнца и разобрать-то трудно было к полуночи или к ночи уже – текущего дня, в его густом, бестрепетном воздухе зряшным казалось править. И невольно опустив руки, государь привычными только наклонами стана числил редкие на пути повороты, казалось, бровями одними только замечал почтительно со всех сторон к нему льнувший ранжир кустарника, под ноль остриженного, да лип. Как всегда волнительно необычайно льстила ему эта весенняя вечно безмятежность к известному скользящего движения. Сердце тянуло сладко и упругий запах пота конского, как хмель, бил в голову. "Не забыть бы лишь нынче же днем с Александром Христофоровичем о фрейлинах переговорить, – примечал себе радостный государь. – Тон двора величественный не единой ведь грации требует, но так же непреклонности и мягкосердечия!"

Эта простая и, казалось бы, всем доступная мысль опечалила несколько Николая Павловича. Там, где каждый из нас хранит ночные, – сам – не сам только полусны, полупомыслы, толчки сердца, не ставшие чувством, тик ипохондрический с издетства забытыми обидами вскормленный, не верил государь, что как небеленый холст, невыразительное лицо Бенкендорфа, хоть на

[**PAGE 72**]

71.

мгновение ожить может. "Люди, ему подобные нужны, конечно, в делах государственных, остро сознавая, что не понимают его окружающие, шептал Николай Павлович. – Но, бог мой, как сушит! Сушит как!" Нет, другим всегда мыслился ему муж государственный! Таким, как Иван Грозный, как Петр Великий! Где вы! Где?" В пустоте, объявшей сердце государево, от слов этих мнилось, что даже нувориш Меньшиков, и тот ближе ему, чем любой из нынешних министров. "Что же с того, что кровь в нем холопская была, – без дороги уже, кажется, несло и несло колясочку императора. – Зато с народом он был – плоть едина! Самомалейшую и подлую нужду его мог на потребу государеву оборотить! Куда там нынешних с ним ровнять! Нынешние – пустой ведь народ! Более во Францию косятся, чем о чаяниях отечества помышляют! Мелки! Мелки! Без лет стареются! По ним всем, Русь, хоть пропади! Ежели и служит где-либо такой шибздик, так не о повышении радеет, а об отставке, подлец, наяву грезит! Един я, – истово, как привык всякую свою работу работать, – тосковал Николай Павлович. – Как перст, один!" И в кручине едкой без того разворошило всего – пустил мерина шагом. "Слово сказать некому, – далее рвалось на муку сердце. – Будто в степи живу! Пуст людей двор! Холоп канальей правит да им мздоимцем и погоняет! А ведь еще совсем недавно Карамзин с Аракчеевым рядом были! Се – умы! Одни задатки как блистали. А непреклонность в рвении служебном? А строгость помыслов? Да на одних ошибках мужей сих учиться надобно нынешки! Э-э-э-х!"

Притомившийся тем временем мерин, не чуя под собой руки правящего, самосильно решил окоротить несколько путь свой и потому – куда бог вынесет – двинул куртиною напрямик. И Николай Павлович стерпел это! Не подумал ничего, – слова не сказал дурного, только круто осадил зарвавшуюся скотину и – задом ее, задом! – сызнава вывел колясочку на аллею, на хрусткий розоватый гравий, на

[**PAGE 73**]

72.

верный путь! "Нет, богом вверенный мне народ мой не таков! – оценивал произошедшее государь. – В послушании своем он истовом свят и праведен!" И неутолимая жажда узреть тотчас же всю Россию застила очи императора. Что Царское? Что парк французский? Что дворец, ежели вон – от окоема – сплошь одна Русь тянется! Там степи бегут, там леса волнуются, моря пенятся, зима оборачивается на лето, лето на осень и – внутренним зраком созерцая *все* это – не в раз и смекнешь, где там траву косят, где рыбу вялят, а где в хороходы прыгают! – Боже! Ширь какая! Истинно, неисчерпаема душа народная!

Умиления чистая слеза смежила взор самодержца, и он, никогда не стыдившийся чувств своих, только пожалел слабо, что ни души нет около и не к кому с трепетом высокого мига сего снизойти. Неторопливо остановил Николай Павлович колясочку, мешкая нарочито из-за обшлага платок извлек и остороженько так стал примакивать его к густо покрасневшим векам. Тут на поворот аллеи – из-под платка это ему пятном видно было – выросла вдруг юркая, но ладная фигура человека в цивильном.

"Пушкин!" – медленно признал государь и, кашлянув, поманил пальцем. Тот приблизился.

- О России – матери нашей мыслю – поверх аллеи куда-то молвил Николай Павлович. – Коли внимать умеешь, многому способно лицезрение отчизны выучить!

Александр Сергеевич прежде ответа голову, как положено то, склонил.

"Легок уж чересчур, и этот цилиндр на локте. Фу! – По-прежнему скользя взглядом все поверх да поверх, оглядел-таки его император. Единственно, что понравилось ему во внешности Пушкина – редкая кромка седины на висках да подсохшая к углам глаз кожа щек. "Состарел-то как! Изморщился весь! – вдвойне

[**PAGE 74**]

73.

чувствуя собственную неуязвимость и силу, думал Николай Павлович.

Он отлично понимал, что жалость в подобном положении неуместна, но ничего с собой поделаться не мог: "Вот ведь тоже из чего-то бьется человек, – мелькало ему. – Может, даже, как я, ночами не спит! Нет, сколько бы ни поносили на него, а пользу определенную он приносит. По лицу видно, что старается! Согласен: ему сил зачастую недостает, там, способностей, но за это мне грех с него спрашивать – не каждому дано! – Сам иной раз устаю! А тут что ж? Тут и поддерживать можно!"

- Служишь? – из этой мысли тотчас же и прервал Николай Павлович приветствие пушкинское.

- Я, государь, с полной бы моей охотой, – отвечив тот, – Да вот – беда! Никакой службы, кроме литературной, не ведаю!

- Подыми глаза! – Любил государь так попросить, чтобы не исполнить нельзя было. – Запомни, на службу отечеству господь умудряет!

Видно было, как свободной рукой Александр Сергеевич узкое горлышко какой-то былинкой высокой перехватил, чиркнул по нему острым ногтем.

- Я, ваше величество готов, – просто сказал он. – Меня лишь тщета моих слабых усилий смущает.

Потому, как понравился ответ, улыбнуться себе позволил Николай Павлович:

- Что совестишься искренне, не робеешь – хвалю! Сомнения же откинь! Не поленись за примером вспять оборотиться, на прашуров доблестных! Неиссякаемый кладесь!

- Если только ваше величество то помнит, сим достойным источником я уже не однажды пользовался.

- Постой! – Мешал государю от мух переступавший мерин. – Я хочу, чтоб постиг ты мысли моей ход. Невозможно более изображать

[**PAGE 75**]

74.

так, как сделал ты в комедии своей соль земли нашей – народ русский! Чернь пишешь, Пушкин! Надобно для всех писать, в героическом вкусе! Ей же богу, славная цель! – Так легко обычно постигал Николай Павлович самое сокровенное любого ремесла, что даже отчасти скучал этим в наставлениях своих и кабы не придворные, так, кажется, сам бы не замечал собственной мудрости. Поэтому он нисколько не удивился тому, что выслушав его, Пушкин, как-то неловко плечами повел и заговорил лишь, затянув молчание гораздо более возможного:

- Со временем "Годунова", ваше величество, я немало о сем предмете передумал. Твердо могу сказать, – мнения мои ныне противоположны прежним.

"Ему кажется – это он сам до всего дошел!" – Понимая тонко все причины слабостей людских, подметил Николай Павлович и, чуть набок поворотил свою, с кудрями почти по-эллиински уложенными, голову, сказал:

- Изволил обратить внимание! Весьма "Полтава" мне понравилась. Известная доля истины исторической имеется в ней. На сам основываясь, и порешил я, Пушкин, тебе поручить составление жизнеописания пращура моего великого!

- Его величества Петра Первого? – быстро подхватил Александр Сергеевич.

- Великого! – Из того необозримого, что открывалось ему при имени этом медленно поправил император. – Созидателя государства нашего! Вершителя судеб, гений коего требует не комедий всяческих, а пера подлинного русского, опирающегося на беспристрастные советы особ, близких ко двору в то славное время, и ... народный. Постигнешь?

- Пора преславная та давно виднеется мне! – Не мог не заметить Николай Павлович, как вдруг засуетился, стал говорить громче, чаще Пушкин. – Местами, кой-где, я уже касался этого,

[**PAGE 76**]

75.

беспримерного в истории не только Руси, полководца и просветителя, но то были лишь наброски. Ныне мне хочется строгого и ясного полотна. Фигура монарха сего надобно брать разом, честными штрихами помечая натуру и прихоти ее. Писать должно без оглядки, без утайки! Ваше величество, коли на то случится божья воля, мне, не малое место в труде моем отделить подручным вершителя, его сподвижником и восприемникам. Кажется, таким лишь образом можно выявить личность Петра на поучение всей Европы!

Было в словах поэта что-то давно знакомое, уже слышанное, веющее печалью, доверенной беседой. Слушая его, государь невольно воспоминаниям предался: на светлое лицо его тень легла, большие прекрасные глаза – знал их силу Николай Павлович – скорбью зажглись.

Смолкнувший тем временем Пушкин, стоял потупясь.

- Полно, друг мой, – с участливой улыбкой, грустно ободрил его государь. – Не смущайся, от сердца я! Вспомнилось просто, что в годы оны то же мне и Аракчеев говаривал слово-в-слово. Большой души был человек! – Далее эту мысль не хотел тянуть Николай Павлович: могло, как давеча утром, недостойной самодержца умиление посетить; он ловко перехватил поводья: – Ты вот что, сейчас мне пора уж, чай, а ты на днях зайди к Гурьеву – жалованье тебе положат!

- Ваше величество, мне допуск в архивы надобен, прыгающим голосом попросил Пушкин. Лицо его посерело и одерзено.

"Все недостатки воспитания сказываются, – заметив это, губы поджал император. – Нельзя же, в конце концов, чтоб человек от радости на глазах сам не свой становился! Держать себя надо! – и так как поворотное окружение уже начала писать по гравию его колясочка, не меняя позы, только губы чуть разжал:

- По моему слову пустят! Но смотри мне, буквой не прельщайся, особо, а перво-наперво – истинность блюда! Ну, прощай, Пушкин!

[**PAGE 77**]

76.

От того, что застоялся давно мерин, мигом исчезла фигура Пушкина, как будто и не было его никогда в аллее.

"Однако, славненько погулялось, – улыбнулся уже ко дворцу правя государь. – Право же, день отменный выдался. Душновато несколько, но парк зато весь, как на ладони просматривается. И Пушкин, в общем-то, недурной малый. Не глуп, старателен, кажется. Жаль, расхлябан слегка и манеры подводят, но это не беда. Станет ко двору ближе – приструнят. Была бы основа исполнительная!"

Настроение государево по расписанной на каждый день колее далее катило. Пить хотелось.

2

Неблизкий путь от Москвы до Петербурга, а с Большой Никитской до Царского, так кажется, и вовсе не добраться. Особливо в распутицу майскую, особливо на перекладных, особливо с мужем... И боялась Наталья Николаевна – Пушкина уже – путешествия этого страсть как. Еще и маменька жару не уставала поддавать: ну, а как перевернется кибитка, а? Ну как обдерут где-нибудь на постоялом, ровно липку? Пуще ж всего – об этом Наталья Ивановна на дню по двадцать раз толковала – за муженьком своим богоданным смотри! Чтоб, карт, ни винища в пути и духу не было! Хоть в чем поблажку дашь – на жизнь целую пиши пропало! Так-то Ташенька! Так-то, кровинушка моя, последняя! Слушай маменьку, девонька, слушай!... Кто еще тебе добра пожелает?...

В ответ Таша то робела, то досадовала, то губку дула, но никак в толк взять не могла, кто же хуже – свои, али чужие?

Александр-то Сергеевич смеялся только на это: мол, бог не выдаст – свинья не съест, и торопил сборами. Коко все о концертах каких-то особенных, питерских, клянчила, Александрина и вовсе странно наговаривала, в гроши не ставила маменьку,

[**PAGE 78**]

76.

злословила: "Матушка у нас и хитра, и глупа разом, свой век заглотила, нынче на наш зарится! Не слушай ты ее! Своим умом жить привыкай!"

Терялась от всего этого Ташенька необыкновенно, плакала и капризничала, манкировала даже ежедневными почти визитами маменьки, но, вместе с тем, и радовалась. Да, радовалась, потому что знала: в Царском – лебеди, белые и черные; государь в золотом шитье на вороном коне: по вечерам – музыка. Ей хотелось открыть Царское, как открывают контрдансы, одним завораживающе необходимым движением и разом увидеть все: солнце – в улыбке, зелень – в трепете, лица – в восторге.

Одна ожидание не спасло ее, и, расставаясь с маменькой и сестрицами, плакала Таша ужасно. Ей притчилось, что никогда более не увидит она милого их домика, девичьей своей, никогда более не спрячется на антресолях и, проснувшись поутру рано, никогда уже не вздохнет в себя острого березового угара, – никогда. Слезы лились градом, крупные, горячие.

Мгновением этим глядя на жену свою, Александр Сергеевич тоже помрачнел несколько. Пожалел, что исподволь совершенно, давным-давно уж, минулась та пора, когда такими же вот безысходными слезами наполнились его очи, и все вокруг смотрелось непоправимым, потерянным... "А нынче на родных-то и глядеть тошно! Век бы их не видал, и не охнул кажется."

И самому, чтоб рассеяться, часа два по отъезду, пока петляли с боков да за спиной заспанные московские усадебки, рассказывал он Таше битую чепуху, были и небылицу, иной раз даже – со сторонними, правда, именами – своих походов подпускал, плел в лицах из священной истории что-то, на все, одним словом шел, лишь бы потешно было. И помаленьку отошла Таша, румянцем занялась,

[**PAGE 79**]

77.

глазки отерла, любопытствовать стала: "Это вот что? – спрашивала она, по московской привычке тыча пальчиком то туда, то сюда. – Ах, как славно все! Смотри, Пушкин, смотри!" Александр Сергеевич смотрел, куда просили, улыбался послушно, доказывал:

- Видишь, у будки инвалид стоит обок с гусем?! Во-о-он, матерый такой, в бакенбардах! Так вот, ежели побрить его, да припудрить чуть – вылитая маменька получится. Ей-ей!

Таша не обижалась, кричала:

- Не маменька – а ты!

Пушкин тогда – хоть и не слишком позволяла ему то тесная их кибитка – на караул взял, пробасил:

- А не похож! Не похож!

Так опасениям своим вопреки, Таша толком даже и не заметила, как сквозь однообразный ряд дворов постоялых, добрались они в конце концов до Петербурга и уже в Демутовом трактире, засыпая, подумал счастливо: "А где же здесь конфетками торгуют? Как много домов каменных!"

В Петербурге Александра Сергеевича тотчас же дела да заботы завертели. Уходя с утра до позднего вечера пропадал он где-то, редко-редко приходил обедать и в постоянном ожидании его да вестей о найме квартиры царскосельской, сызнова сильно затосковала Таша. От одиночества непривычного поперек горла стал ей Петербург. На взгляд ее, все не так было в столице! Одни желтизной чахоточной крапленые дома чего стоили? А убогое, треской провонявшее небо? А липкая, по щиколотку грязь на улицах в любую погоду?

И совсем выбилась из сил Таша, пытаясь хоть как-нибудь войти в колею, – но – "Нет, не могу", – опускались руки, и без оглядки хотелось бежать домой, туда, на Большую Никитскую, в девичью свою, досвадебную...

[**PAGE 80**]

78.

И когда, управившись-таки со всеми хлопотами своими, назначив уже срок отъезда, и попрощавшись с Плетневым, воротился как-то Пушкин домой ранее обыкновенного, на грудь ему прямо разрыдалась Таша.

- Ну-ну, голубушка моя! Полно! – бросился он утешать ее, – вот гляди, глазоньки утонут! Чем смотреть будешь!?

- А не могу я, – жаловалась она, не утирая слез. – Маленькая еще.

- И я не велик? Что стряслось-то хоть?

Из заяблых своих, не пуская руку его, провела Таша Александра Сергеевича в свой покой.

- Вон! – указала только, а сама к двери: вот-вот сбежит!

К чему угодно готовый огляделся Пушкин. Теплилась под иконкой маменькиной! – лампадка слабосильная, из окна, в подмогу ей текший пустой, но тусклый отрез света тенями мостил на полу почти живую груду; лежал тут: салоп лисий, сукном синимкрытый; корсетов связка; полотна какого-то штука; шелк – лоскутками, нитками и так просто, складками, ситец, кроенный уже; платков – узел; лент – охапка; пальцы и что-то вовсе непонятно – так, бахрама да стеклярус.

- Ну, так что? – раздумчиво спросил Александр Сергеевич:

- Ой, ну шевелится ведь! – с ужасом неподдельным выкрикнула Таша. – Мышь! Не видишь, что ли!

И верно, на пристальный взгляд вскоре начинало казаться, что в сердцевине этой груды живет какое-то осмысленное движение: нитки переливались в дымчатый цвет и позванивал стеклярус.

Присев на корточки, Пушкин коротким, точным толчком разворошил тряпье. Изумленной до нельзя Таше открылся скелет порванного цилиндра. Торчала из него лихая стальная пружина, оживала от каждого шага.

[**PAGE 81**]

79.

- Да, послал бог живность. – Александр Сергеевич руками развел. – Где ж тут, женка, мышь? Это, почитай, машина целая!

- Разве? Я так думала – мышь с мышенятами! – без улыбки, однако, призналась Таша. Даже девку боялась призвать! А она, смотрите, невзаправдышняя... – И-таки вскрикнула, когда в собственные руки ей попытался муж дать давешнее пугало. – Ай, страшно же... А ты тоже, что ни день, так нет и нет! Не могу я одна, не могу! Ну, Пушкин, – приластилась она к плечу его, – уедем отсюда! Хорошо? В Царское! Хочу в Царское! Капушкин ты, а не Пушкин! Все ходишь, ходишь... Поедем..., – а то увидишь – из-за тебя и запозднимся!

- Куда это запозднимся? – удивился Александр Сергеевич.

- Вот еще! Будто знать я должна, куда! Запозднимся, и все тут! Ну, увези женушку свою, – губки ее дергало книзу, – увези, миленький! Я, – Таша бровки к переносице свела, – скучаю за тобой!

Пушкин медленно переступил через корсеты на полу, к окну подошел, и, спиной, чуя глаза жены, сказал тихо:

- Завтра чем свет и едем, душа моя! Мне самому, хоть и рвался я так из Москвы, а уж давно наскучила столица. В мае она – грязь, головы преклонить негде. Едем.

Расцеловала его Таша за это и до вечера самого, до сна весела была пуще меры всякой. По-французски вполголоса напевая что-то, в столовой места не находила, из окошка – в пальчики прыская, за офицерами подсматривала, потом назвала из прихожей тьму прислуги мужской и женской, понаказывала ей бог знает чего – сама же умаялась прежде всех – и, едва допил Александр Сергеевич чай свой "полуночный" последний, легкая радостная, спать повалилась. Сон не пришел однако, а полезло в голову не нынешнее –

[**PAGE 82**]

80.

всякое. И так как боялась обычно Таша и вспоминать и думать, и хотя различия никакого меж понятиями этими не делала – позвала мужа. Тот – из покоя смежного свет сочился – видимо, писал чего или читал, отказался:

- Что-й-то не хочется мне еще почивать, – и с торопливой ласкою, будто спохватившись, попросил, – А, ты спи себе, дружок, спи, как мышка.

Не обиделась Таша, а укуталась потеплее. "Пускай его, – думала, – в постели одной удобнее". И до сей поры не могла еще никак привыкнуть она к замужеству своему. Бывшее у нее некогда резкое равнодушие к супругу будущему, нынче, разумеется, прошло. Но как не пыталась она, все не могла уразуметь, дальше-то что станет? В представлениях ее, в мечтаниях и помыслах не жил Александр Сергеевич далее прошедшего дня. Помнится, говорили ей сестрицы и маменька: "Вот родишь, – все солнышко, поймешь!" "Ну и рожу, – не соглашалась, чуточку лишь труся, Таша, – рожу, подумаешь, мудреное дело! А дальше-то что? Потом?" На вопрос сей никто, кажется, не знал ответа. "Страховидный он, – спорила она тогда сама с собой, но зато – Пушкин". Стыдно и признаться, но боялась Таша именно этого. Чудилось ей в нем всамделишная пушка! Ну, как стрельнет! Доброта же Александра Сергеевича нисколько не нравилась жене его. Обижала даже: "Что он и впрямь со мной, ровно с дитем несмышленным! Смотри, пожалуй, камильфо какой! Ходит целыми днями, где ни попало, а после: Ташенька, мышка, голубчик, душа моя, женка – просто уж больно!" Не такой виделась ей когда-то жизнь замужняя!! И всего хуже – музыки мало. Ах, закрыть глаза и кругом, кругом, чтобы скользкими и прохладными сделались тугие нижние юбки; чтоб плечи и горящее над ними лицо знали – нет числа в мире восторженным взглядам и звукам; вон музыканты на хорах; милые, милые, шибче играйте, всего вам даст

[**PAGE 83**]

81.

добрый боженька за это, потому – так только проходит жизнь настоящая! Есть ли на земле что-либо пленительнее музыки в жаркой полуночной зале? Нет? И быть не может! "А вот он, – совсем уже в полусне грезил Таша, не понимает! Чудно как! Умный все-таки и старый, книги читает, а радости истинной господь не дал! Отчего так бывает?" Но перед отъездом долгожданным не хотелось голову ломать. Она просто решила: "Научу я его! Всему научу! Ведь жалко же и не тяжело! Танцевать он и так отлично умеет, стало быть, одной любви недостает! Эка сложность! Расскажу – поймет! Умный ведь!" И надев новое белое на фигурном чехле платье и лавкой еще пахнущие козловые башмачки, по розоватому на изжелто-сизой мраморной лестнице, ковру спустилась Таша в громадную людную залу. Ее ждали. "Экосез! – объявил кто-то сверху. Она закрыла глаза...

... и вовсе проснулась уже в карете на дороге в Царское, Александр Сергеевич дремал напротив. Рассмеялась Таша.

- Отошла душа моя? – встрепенулся Пушкин.

- Не-ка, – смеясь ответила она. – Кружится все, кружится.

- То не беда, – тоже улыбнулся он. – Здесь прямая дорога идет.

- А и пусть ее! Я так спала, так спала, и, знаешь Пушкин, под утро уже тебя во сне видела.

- Вот, на! Как же вел я себя там?

- Ты? – Таша лукаво кулачком подперлась, как бы прикидывая, сказать, не сказать, – не выдержала: – Так и быть – скажу. Ты, толстый весь, на маскарад явился, а тебе велели разбойником облачиться. Так ты саблю взял, а от пистолета отказался – у меня, говоришь, свой есть и достаешь, – она даже ладошкой прикрылась, покрасневшись, – достаешь хвост собачки...

[**PAGE 84**]

82.

- Какой хвост-то, – всерьез заинтересовался Александр Сергеевич. – Двуствольный, одноствольный?

Таша слова вымолвить не могла, ее было мелкой дрожью, она только кивала головой и отмахивалась.

- Забавная, однако, штука получается, – Пушкин прищурился. – А я, душа моя, о тучности как-то меньше всего помышлял. От чего-то не идет на тук хлеб мой! Словно не так я ем, как меня едят. Нет, это тебе совсем без толку попритчилось.

- Черный, черный, – в себя приходила Таша, – вороной хвост!

- Что ж, из всей скотины божией, хуже всякого, один бесхвостый человек живет. Потому, кто знает, может хвост и к добру. – Сунувши ладони между колен, он стал моститься помягче.

- Спалось дурно? – отсмеявшись, забеспокоилась Таша.

- Что-то, да! Хочу дорогой подремать! Прости бога для.

- А-а-а, – Таша разочарованно прикинула к окошку, сказала холодно и еле слышно: – Как-то вам будет угодно!

Наиболее всего обидело, что муж так добродушно к сну ее отнесся. "Уж чересчур прост выходит!" – снова пришла к ней ночная мысль ее. И, стараясь не задеть Александра Сергеевича, поворотилась Таша в уголок. Ей бы одной хотелось побыть сейчас, одной.

Пушкину тоже что-то тесно было в карете. Вот уже несколько дней подряд он беспрестанно и едко саднило у него душу. Ровно изжога какая, – мутно думал он и пытался объяснить состояние свое сильно покренившимися денежными делами. "И то сказать, в долгу, как в шелку, – втолковывал он себе в голову, мотаясь то по Москве, то по Петербургу, в поисках верных закладов, надежных векселей, долгосрочных займов. Но в невыносимой суеде этой нет-нет, а являлась все-таки ему дошлая мыслишка: "Что долги твой? – Как что? – Жизнь! Свобода! Кабала! – Э-э-э, вздор какой. Что ж, по-твоему, раз в долгах, так уж и жить не живи! Нет, братец, все в долгу, однако ж, долг долгом, а счастье – счастьем! – Ну,

[**PAGE 85**]

83.

не знаю, – правоты за собой не чуя, все ж перечил Пушкин. – Это кому как нравится! А я вот на закладные жить не могу! – Блажь, – куражилась та же мыслишка, будто и совместить нельзя. Да, все знакомцы твои, други и недруги так живут! Ией же ей, славно получается! На одной стороне золото, либо отсутствие оно, на другой счастье! Надобно только подслеживать, чтоб человек ровно посередине меж тем и этим пребывался, остальное – приложится... И хоть не соглашался никогда Александр Сергеевич с голосом тем, что-то ворочалось в нем: верно! И с тоской отвращал тогда он взор свой от – в едино – бессмысленных деловых бумаг, в себя обращал его, в Ташу, тщился разглядеть иное, дальше, но плыло все перед очами, тонуло и мнилось, не стороннего кого, а себя, Пушкина теряет он в горьких ночных чаепитиях, а с женою, Ташенькой, нечего делить ему: пусто, что на сердце, что под руками. Любовью или ненавистью полна жизнь, жаждой или пресыщением? Довлеет дню злоба его? Грядущее – ни что, а в сем он всегда, даже еще с молодостью за плечами, уверен был, а настоящее – где оно? Ведь ежили, не кривя душою прикинуть, так будто и нет его вовсе! Лежит оно – в забросе обычно – не за морями синими, не за царскими диковинами – нет! – в нас самих, но с тем вместе, и не во сне ли? Не за чертой ли духа и плоти? Прошедшее имеет свою законченную норму, грядущему самовольно придают ее, и, как два отдр га работающих колеса – свободы меж ними на волос нет! – от веку погоняют они в противоположные стороны! Настоящее же пребывается на стыке их. Вот на стыке том и удержишься поди, останься, не обрезавшись, слушай с восторгом, как толмачет тебе: то, мол, нужды высокие отечества нашего, там-де достохвальная к семейственности склонность, а вон – изящная словесность сплошь розами произрастает. Да на деле это все и есть суть настоящая жизнь наша! И каждому –

[**PAGE 86**]

8[4].

хошь не хошь – доступна она. Мне, ему, отпрыскам моим...

Не раз и не два возвращаясь на ненасытные круги эти, над собой и над всем паясил Александр Сергеевич, насмешничал: "Грядущее мое – прошедшее!" Но отзубоскалясь так, никому еще не признался он, что самая жуткая для человека очевидность, подслеповатые, добрые глаза старости! Особливо близкими начали казаться они Пушкину после женитьбы его. Случилось, будто не свободу, коей так дорожил он всегда, похитила у него Таша, но молодость, точнее то состояние не старого и еще не обремененного хворями человека, когда в кругу привычек давних своих и друзей живет он, словно в безвременье каком, не подразделяя с неперменной для всякого нудностью увлечения и досуг, труд и страсть на вчера, сегодня, завтра. Самое сладкое здесь, пожалуй, то, что человек сей может вовсе и не пользоваться привилегиями своими. Достаточно и того, что подразумеваются они неотступно. Женившись, Александр Сергеевич – будто и не нудило его на это ничто еще – ясно увидел: нет бесчисленности открытых, либо запертых дорог /одна есть, не узкая/ не широкая – твоя. Он поначалу дернулся было туда-сюда, захорохорился, закручинился, пустился придумывать себе параллели, корчевать былые наклонности, с оглядкой на юношей, молодится, – но опыт, – а может, то просто сердце сесть начало? – взял свое, пошептал, помучил бессонницами, смирил. И в новом своем обличьи еще очень скользко чувствовал себя Пушкин, хотя и не жало ему ниоткуда, не пеняло, а, напротив, в его же будто интересах, полной грудью жить заставляло.

Отсюда, чтобы ни дай бог не прозналось что лишнее, и к жене своей, женошке, относиться старался Александр Сергеевич, как только мог ровнее. Берег ее от слов случайных, снисходительствовал, прихотить даже стремился к чтению разумному. Ташенька без видимой борьбы шла на все, но жажды сильной, казалось, ни

[**PAGE 87**]

85.

к чему не испытывала. – Лото? – После обеда сядемте, ладно? – Мадам Скюдери? – В середу почитаете: нынче я к портнихе обещалась... Российская словесность? – Я, известно, вам, язык сей худо знаю, но думаю вы сложностей особых мне не предложите!"

Пушкин в этом разе по-иному нашелся. Во влюбленности немалой своей еще одну Наталью Николаевну построил, в приложение в единственной, в подмогу ей. И точно, глаже пошло все, ловчее. Настоящая Наталья Николаевна спать, положим, рано захочет, – Александр Сергеевич в крохотный кабинет к себе уйдет, свечу затеплит, – со второй, с Ташенькой сидит, книгу листает, иногда даже прочтет чего вслух. Настоящая модистке задолжает, накапризничает, пригрозит к маменьке немедля уехать, уткнется в диван, примолкнет не на шутку; Александр Сергеевич – опять же, другой, иной, Ташеньке – все объяснит, не гневаясь попусту: так мол, и так, пусть и родовой я дворянин, а не вельможен, ассигнация на меня с неба не падают, сам их, проклятые, зарабатываю, будь же, бога ради, бережливее. И – ничего, соглашается... Другая, иная, Ташенька. Или еще: Пушкин с друзьями заболтается, пропадает на целый день, обо всем и обо всех позабудет, ну прямо – гони к цыганам, да и только... Минется, конечно, запал сей, спохватится Александр Сергеевич, совестью учнет мучиться, будет перед дверью дома собственного являться, по коридору в полшага плестись, а тут, в самый-то роковой момент, когда с Натальей Николаевной лишь тет-а-тет каяться надобно, откуда ни возьмись и является на защиту ему другая, Ташенька то есть. И уж перед ней в грязь лицом Пушкин ни за что не ударит, каламбуром блеснет, былыми молодецкими ухватками застрашает, покорит одним словом... Иногда, правда, оказия и в этом роде случались. Увлечется этак Александр Сергеевич, – ан, перед ним две Наталии

[**PAGE 88**]

86.

и настоящая и та, другая, разом... Смущался он тогда необыкновенно, срочные дела единым духом отыскивал и пропадал. Чтобы вернуться было можно, чтобы продолжить игру...

Со временем, однако, после медового месяца где-то, Пушкин-таки пересилил себя: во всем признался Наталье Николаевне. Как мог понятнее и последовательнее рассказал ей все, не каялся вовсе, а просто, как пасьянс, разложил: да, таков, я может статься, в сем отчасти и стихотворство мое повинно, но другим быть не умею, у меня в душе будто несколько человек на постое разом живут право, самому не понять, кто какой курбет отбросит. Прости, милая! Пойми, душа моя!

И – чудо! – поняла. Каким радостным был день тот для Александра Сергеевича. День неземного неподдельного счастья! Все отошло тогда на дальний, ненужный план – и старение, и долги, и стихотворство! Женка, единственная, стояла перед ним близкой и желанной, с ней можно было говорить не обинуясь, ей нужно было смотреть в очи...

И уверяясь, что после подобного не могут быть не выправленными дела его, радостно собрал Александр Сергеевич все хозяйство свое в Царское, впредь еще позаботился о квартирке, подмазал, где только крайне безотложно было, заклада и... на тебе! Чертов Петербург опять все, кажется, под гору пустил! Таша на глазах в пустяки зарывалась, ум обступали длинные нескладные мысли, рушился для работы необходимый покой, – да что там! – самое жизнь невский туман застил: "Мыши – вздор! – морща губы, вспоминал Пушкин. – Худо, коли капризы в манеру войдут. А все будто к тому клонит!" – и чтобы унять недобрый жар, хлынувший от мысли этой в голову, Александр Сергеевич губы ладонью перехватив, выпростался резко из своего угла.

- Дождик вон! Видишь? – словно давно уж были у ней слова эти под рукой, тотчас же отозвалась Таша: – Похоже надолго

[**PAGE 89**]

87.

зарядил.

Само собой отпустило сердце. "Ну, вовсе еще дитя!" не мог не улыбнуться

Пушкин; он глянул в окошко:

- Да! Но сие не страшно нам. Смотри – Царское!

- Где?!

- Где? – сызнова все просто стало, будущее замаячило. Александр Сергеевич сжал нежно руки жены: – Везде!

- Ой, деревня! – ахнула Ташенька. – Ни одного каменного домика. Замоскворечье!

3.

После исконного для Петербурга ненастья майского, пали на Царское и окрестности его густые, по болотам вызревшие жары. Неразбирая дороги, шел июнь, неспешною своей северною походкою и вслед поступи его торопились леса, хоть малость зряшную пожить свежей робкой зеленью; сады усадебные с вечера еще по-стариковски с непреклонно топорщившиеся на зарю поздно и стоящие, как в каре угрюмом, что ни утро – сдавались: по палисадам выкидывали флаги белые – нежные хлопья черемухи, витые гвозди сирени; без весны, врасплох подкравшееся, полонило Чухонию лето.

В какую-то из таких ночей и пропала у Таши любимая ее собаченка. Так уж привыкла к ней Наталья Николаевна, что глаз со сна не успев открыть, ни у кого ничего не спрашивая, как плат, побелела: одна! Ну, как можно: квартира у них с мужем в Царском отменная, дай бог маменьке такую занять; общество, с которым вечера доводится коротать, все ко двору близкое; кухарка не токмо стряпать мастерица, но и в нарядах толк знает; газоны и кусты перед домом прямо, ровно парики у парикмахера за стеклом вьются – все исправно, все в лучшем виде, да вот те вдруг – беда, оказия нарочная! Собачка-шалунья сгинула! До слез обидно Таше стало. Растормошила она тогда Александра Сергеевича, обсказала

[**PAGE 90**]

88.

что и как.

- Пассаж! – вздохнул тот и кликнул Никитушку Козлова. Сыскать наказал.

Таша на мгновение от окошка отойти не могла. Ей потребно было в действии ждать – так мысли о потере легче становились, вид благолепный сердце улеживал. "Милое Царское, – думалось ей. – Вовсе не Москва, совсем нет! А ведь показалось, глупой мне, – деревня! Куда там! Хоть и вдали от Петербурга, а все едино – столица!" Озадачивали ее несколько лишь люди, с которыми вязались новые знакомства и дела. Те, что одного с ними веса – чопорны и как бы на возраст не глядя – взрослее, прислуга же – ворье. "Вот и Имажку сперли! Не иначе, как на рукавицы, бездельники!" Жаль было очень Таше умненькую собаченочку свою, и никак понять она не умела, от чего это Александр Сергеевич так к твари божией равнодушен. "Тоже ведь зачем-то понадобилось господу, – про себя укоряла мужа Наталья Николаевна. Тоже разуменьем и любовью наделена. Зачем же он так?"

Сам же Пушкин, дабы не путаться без толку в собачьем розыске этом, наскоро хлебнул горячего кофию и гулять отправился. Бархатная какая-то духота стояла. Сильно морила вязкая серая жара и от того без цели совершенно петлял Александр Сергеевич самыми густыми аллеями, перекладывал надоевший цилиндр из руки в руки и, кажется, не думал вовсе, а лишь, как трепетный звонкий шар над головой, всем существом своим осязал один давний денек лицейский, такой же вот блеклый, томящий. Они тогда всю гурьбою своей порешили увальня Дельвига плавать обучить. Будто за иным вовсе делом, притащили доверчивого, как щенка, А..тоу к пруду, усадил от воды недалеко,

[**PAGE 91**]

89.

заговорили, засмешили, да и навалились неожиданно скопом, содрали наспех с толстенькой фигурки его парадный мундирчик, и в подштанниках белых, бухнули с берега в глубину, сами – спасать приготовились. На удивление всеобщее, Антоша шустренько вынырнул и, не оглядываясь даже на обидчиков своих, приличными саженками дунул к другому берегу.

- Ничего не понимаю, господа, – в недоумении полнейшем рискнул первым подать голос простосердечный Кюхля. – Он, что же, ранее дурачил нас всех? Как хотите, а я неблагодарным сие почитаю!

Горчаков расхохотался только: – Ну, лягуха вылитая да и все тут!

Пушкин тогда быстрее других пруд обежал, с виноватой и вместе любопытной улыбкой к барону подскочил:

- Не заяб, Антоша?

- Дурачье вы, каторжное, – беззлобно отплевывался ему в ответ застойной тухлой водой Дельвиг. – Я сызмальства ведь, что щепка на воде держусь! Спросили бы хоть, сперва, балбесы!

Не скоро разошлись в тот день они. Все спорили: вот есть же у человека – имени смешно им казалось не называть – качество достойное, почему скрывает, зачем?

Да не так все это, господа, не так! – не выдержал, наконец, и сам виновник анекдота. – Прежде чем шкодить, дайте себе труд узнать, в чем истинно человек нуждается! А учить рыбу плавать – нельзя! Поймите вы это!

- А ведь, кажется, он мысль сказал, – неуверенно протянул Кюхля. – Я думаю, когда-нибудь смогу понять ее!

Смешно всем сделалось.

"А ничуть не весело, – как бы все еще продолжая вспоминать, размышлял себе Александр Сергеевич, но размышлялось уже слишком

[**PAGE 92**]

90.

споро. И на мысли никак не походило, то кованное в готовые вовсе слова и предложения, что горячо занимало, заливало мозг. То, знал он, другое шло. И по темной резной зелени, прямо по гравию, что так мешал идти ходко, вольно, увидел он вдруг без всякого удивления лист бумаги толстый, волокнистый, синевой отливающий, с лохматой, как собачье ухо висящим углом, – понял, облизывая тотчас же обсохшие губы: писать надобно. А лист, меж тем, сам собой писался уже. Спешно бежали к нему буквы, одна из другой черненькие в строчки строились и – без голоса – отличную, литую прозою повествовали о дворянине, коему судьба заместо чинов да служб вельможных даровала легкое, к полету склонное сердце. Простого, но добродородного происхождения герой сей и не помышлял даже искательствовать. Жил сторонясь света и нужд людских, деля досуг лишь меж обширною библиотекой своей и беседками с некогда в большом фаворе бывшем старичком-соседом, коего ум, острый и чистый, немало забавлял его. Так, в покое и уединении текли дни; казалось, конца им не может быть; порой думалось: вот уже и старость с мирными ее сединами не вдали. Провидению, однако, было угодно по-иному распорядиться. В городок, где проживал герой наш, приехал некто граф Н. Человек это был еще вовсе не старый, с отличными черными бакенбардами, спокойный и неглупый. По городку вскользь передавали о каких-то невзгодах и интригах, заставивших графа, еще полного сил и честолюбия, искать неприхотливой глуши и забвения. Все это, однако же, мало касалось героя нашего; он продолжал безмятежную линию свою, как прежде; почти никуда не выезжал, охотно занимаясь немудрящим хозяйством своим; ум и душа его от природы одаренные, не нуждались нисколько в добыче извне.

Однажды навестил его добрый сосед. Отставной любовник сей весьма успешно заменял своею наблюдательностью и слогом полное отсутствие в городке журналистов и газетеров. С обыкновенной

[**PAGE 93**]

90a.

своей неспешностью, покуривая из трубочки, перемежал он воспоминания дней минувших с недавними вестями. Герой наш слушал его молча. "Да, чуть не позабыл, уже уходить собравшись, остановился на пороге гость. Дошло до меня будто жена графа вовсе и не жена ему, итальянка, княгиня Р., бывшая некогда замужем, и об уходе коей от старого мужа много говорено было в свете лет с восемь назад. "Не вижу в сем ничего диковинного, – промолвил наш отшельник, – сердце женское переменчивое. С теми, кто живет лишь страстями, случается и худшее! "Так-то оно так, – отвечал ему на это сосед, – только сказывали, живет она нынче с графом не вольной волей, а взаперти!" – "Как?!" – "А так, продолжал невозмутимый вестовщик, – несчастной от расстройства нерв сделался сомнамбулизм. Кажется, ее даже видали ночью на стене графского сада! Предупреждаю, что все сказанное меж нами должно остаться в сих стенах, заключил угодник осмнадцатого века" – Честь женщины не может становиться предметом пересудов". Последнее, впрочем, было излишним.

Легко себе представить, какое действие оказало на героя нашего сие сообщение. Воображение его, подогреваемое беспрестанным чтением, вовсе лишило молодого человека покоя. В следующую же ночь порешил он отправиться к графскому дому, с тем, чтобы или умереть там, или спасти страдальцу. Иного выхода не представлялось уму его...

Тут течению слов непременно поворот показался: на всякий случай Александр Сергеевич и поворотил в другую аллею: – Ага:

... К ночи, писалось далее, – собрались тучи, вскоре полил дождь. Герой нам сим был весьма обрадован. В непогоде видел он первейший залог удачи. Закутавшись в плащ, с сильно бьющимся сердцем пошел он со двора. Выл ветер, с неба часто

[**PAGE 94**]

91.

и остро моросило. Прожив безвыездно в городке родном с немалым лет двадцать, герой наш почти никогда не выходил из дому ночью. От того всякий куст придорожный мерещился ему живым. Грязь стояла ужасная. Поминутно оскальзываясь и путаясь в полах плаща, герой наш порядочно стал, прежде чем очутился у самых ворот графского особняка. Тут из привратничкой навстречу ему вышла здоровенная баба с презиравной метлой в руках. С видимым неудовольствием оглядев пришельца, она заперла тяжелые дубовые ворота и сделала ему знак следовать за собой. Герой наш, молча подчинился. С противоположной стороны дома в заборе оказалась низенькая калиточка. Баба отперла ее громадным чугунным ключом. Они вошли. Вместо сада, который уже ожидал увидеть Герой наш, очутился в обширной сторожке. Ни слова ни говоря, баба вздула без того еле тлевшую лучину, скинула с плеч свой мужественный тулуп и, раскрыв герою нашему дородные объятия, запечатлела на ошеломленных устах его громкий поцелуй. Наш целомудренный отшельник, сей новоявленный Иосиф, как ужаленный, отскочил к дверям; но напрасно: они не поддавались...

... и, – помогая себе рукой Александр Сергеевич остановился улыбнувшись:

... На другое утро, когда в положенный час пришел слуга будить нашего Героя к чаю, нашел он хозяина своего в сильнейшей горячке. Несчастный вскрикивал что-то бессвязное, беспрестанно требуя себе то метлу, то морсу: руки его были широко разведены, казалось, он тщится ими объять нечто необъятное. Больших хлопот стоило выходить его. Но, уже выздоровев, он и на порог к себе более не пускал говорливого соседа. Впрочем, добрый старичок вскоре скончался, оплакиваемый многими...

То был добрый знак: Пушкин засмеяться чтоб, к теплой коре липы спиной припал.
"Ага, стонет сизый голубочек! –

[**PAGE 95**]

91a.

вертелось почему-то в голове у него. – Повесть для уездных барышень с высокой целью исправления местных нравов! Сочинения графа Хвостова в духе новейшего романтизма. Гривенник ассигнациями штука, оптовым покупателям – скидка в пять процентов! Надобно и виньетку соответственную заказать: две метлы, лира, а кругом – мрак..."

Обивая по пути пыль с сапогов, направился Александр Сергеевич к журчавшему невдали фонтану. Сильно и молодо бежала по жилам кровь. Пушкин смочил водой голову. "Ну, и обедать пора, – с удовольствием представлял он себе накрытый стол, выбирая на средокрестье аллеи кратчайшую дорогу. Послышался похрустывающий топот копыт. "Кого он это? – настороженно потянуло сердце вниз и, казалось, прежде чем разглядел, угадал против воли. – Государь!"

Непонятною трускою шла изящная колясочка. Поводья были приспущены, Николай Павлович, – сам кучер – сидел боком, держал в руках немалый белый плат, окунал в него лицо.

Пушкин – есть все сильнее хотелось – взял цилиндр на локоть, склонил голову.

С быстротою, не вовсе приличной при встрече, сообщил государь Александру Сергеевичу о причине слез своих. "Да, – подумал Пушкин, – что-то положенное произнося, – коли уж его проняло, стало, точно Россия состоянием своим, будто лук способна действовать!" Далее Николай Павлович в раж войдя стал пенять Пушкину, на нерадение служебное, на промашки в сочинениях, корил, что редко бывает при дворе. Александр Сергеевич слушал потупясь, кивал, где потребно было – что-либо поддакивал и ни на мгновение не терял острого присасывания под ложечкой. От того лень было говорить долгие фразы, от того соглашалось и слушалось легко. Государь, всем этим, видимо, удовлетворившись,

[**PAGE 96**]

92.

сменил гнев на милость: как табакерку в день тезоименинства, поднес монарший заказ на составление жизнеописания Петра Великого. Давно уж знал Пушкин с какой недюжинной хваткой и усердием метил на пьедестал пращура своего Николай Павлович. Александру Сергеевичу тут как раз и был резон посмиренничать, лишь кивать надобно было, лишь в глаза смотреть, внимать и клониться по-малу в стезю уготованную, да во все тяжкие сорвалось ретивое: прихлынули давние помыслы, неизъяснимое волнение растопило грудь. Забившись, Пушкин тотчас же подхватил едва намеченную мысль, и – не слышал, что в миг тот на языке было – в уме узрел стройную картину будущей книги о Петре. Единым порывом не то вздымалась, не то корчилась на коленях Русь. В толпе лукавых и дерзких царедворцев, шествие Петра не было благословенным шествием сеятеля. Головы окровавленные сыпались в борозду его и – еще не понимал Александр Сергеевич почему – вовсе всходов не давали. Безвинная кровь просто в землю уходила... "Без железной руки распалась бы в ту пору Россия!" – прервал себя Пушкин, а сам без умолку говорил, и матовое, как из тонкой лайки, лицо государя теплело с каждым его словом. "Очень хорошо, очень хорошо, – влекло его на быстрых крыльях: – Все разумеет государь! Видит бог, дельный царь!"

Как давеча, в начале разговора влажным затянуло глаза Николая Павловича.

Александр Сергеевич остановился: ему претило так, корыстно почти, пользоваться извинительной вполне слабостью самодержца.

"... в годы оны тоже самое слово в слово мне и Аракчеев говаривал! – до парения пушкинского донесся вдруг растроганный голос государев... Кончилась книга о Петре-преобразователе.

[**PAGE 97**]

93.

На обжигающий какой-то миг показалось Александру Сергеевичу, что тело его, приобретает разом огромные, против обычных, размеры, на острых, на режущих контурах своих только и держится, а нутряное все с грохотом бесшумным рушится вниз куда-то и, последним, бьет по непонятным ухабам алое пустое сердце. Кровь безвинных просто в землю уходила...

Зачем-то попросил Пушкин о допуске в архивы и получил его. Медлительный в своей колясочке, осторожно исчезал с глаз государь.

В подступившей к горлу пустоте аллеи, показалось Александру Сергеевичу, что полузыбкими тенями облаков высоких, вслед царю тронулись и соседние кустины, а с травы понесло злыми зелеными брызгами.

Зябко стало.

IV.

От окошка к окошку все глазыньки проглядела Таша, покуда неприметно вовсе катило свои часы густое летнее время. Нет, не несут Имажку! Неужто погибла, бедненькая!

Подошла обеденная пора. Потянула ожидание, потянула – минула; улицею к парку загремели экипажи на вечернее гуляние, вслед им вымершею мостовой процокала цепочка всадников: три дамы и офицер; потом по булыжнику вперевалку водовоз затрусил с огромною бочкой, кричал что-то монотонное покамест не увидел Ташу в окне, увидевши – лихой, надо думать, мужик был – улыбнулся ей дерзко из черной бороды своей, хотел было править к воротам прямо, да угодил в канаву, приворачивая из нее, въехал задом в переулок какой-то – там и пропал. Оконфузившись этим несколько, отошла Таша вглубь комнаты, приказав себе воды сахарной, села в кресла у складного журнального столика. "И Пуш-кина нет! И Пуш-кина нет! – тикало в мозгу у ней,

[**PAGE 98**]

9[4].

сжала виски руками. Все-таки это бессовестно! Бросить жену, уйти на целый день куда-то! Нет, права была маменька в предупреждениях своих! Виденное ли дело, году нет, как женат, а уже манкирует! И когда, в какое время! Бездушный!" У меня все сердце не на месте, – шептала себе Ташенька, кончиком язычка отлавливая ползущие со щек слезки. – Я ведь одна тут... Без Имажки даже, а он..." И очень захотелось ей справедливости, пусть и запоздавшей, но полной. "Вот случилось бы как нынче, только чтоб я в белом лежала в постели. Полог китайский, шитый, плотно задвинут, натоплено в спальне, а мне все дрожит, холодно и пить хочется, – она точно отпила принесенной воды. – Прошу я, стало быть, слабым голосом – никто не слышит. Тут – Пушкин. Опять откуда-то поздно воротился. Услыхал, – Что, спрашивает, что, Ташенька? А я уж почти и не дышу. Он за лекарем послал, слуг нагнал. Только ни к чему все это! Поздно! Он к изголовью моему на колени, я прощаю его! Живи, еле слышно говорю, женись, коли сможешь, меня иной раз поминай... У него слезы из глаз..."

Щемящая грусть картины этой печальной как-то освежила Наталью Николаевну. Она отерла лицо, допила, что оставалось из стакана, и – не смеркалось все еще – подвинула к себе со стола какую-то жиденькую книжонку в мягкой желтой обложке, озаглавленную по-русски. Запиналась – худо очень знала Таша грамоту эту – прочитала: Кавказский пленник. Повесть. Сочинение Александра Пушкина. "Ну, это я читала, – вспомнила она тотчас же восторги Ази. – Нечто с театра военных действий. Скучно!" – но поленилась тянуть к столику из кресла опять, класть книгу на место и листнула ее вглубь. На странице, оставляя вокруг себя большие никчемные поля, плотно сидел

[**PAGE 99**]

95.

столбец коротких черных строк. Таша всегда боялась русской азбуки, она казалась невероятно трудной. Одних запятых сколько!" Найденная страница прельстила ее тем, что более грешила точками. Приготовив пальчик, Таша осторожно прочла: "На нем броня, пищаль, колчан – кубанский лук, кинжал, аркан – И шашка – вечная подруга..." шашка? В шали, с седыми букольками, как у маменькиной мадам Доффруа, вечно из табакерки нюхающей.." Передохнув, она еще наугад открыла. "Кажется нечто любопытнее: так: – В руках любовника лежала – Ее холодная рука; – "Верно, руки всегда зябнут. Однако же, без перчаток, с любовником! Фуй, что за вкус!" – И, наконец, любви тоска – в печальной речи излилась: – Ах, русский, русский, для чего, – Не зная сердца твоего, – Тебе навек я предалась?" – Таша прикрыла глаза ладошкой: "А вот это – хорошо! Совсем как у меня! Как там?... – Не зная сердца твоего..." "Злосчастная девица! Доверчивая, прекрасная! Как все ж таки неблагодарны мужчины! А я? Что я о нем знаю?" – Тут слабенький огонек подозрения мигнул в душе у Таши. Она с лихорадочной поспешностью принялась переворачивать страницы: "А что?... А если?.. Нет, прежде надо узнать, кто она! Так... так... так... а-а-а, ну-ка: – Впервые девственной душой – Она любила, знала счастье; – Но русский... "Нет, не то! Вот, вроде: – "Люби меня," – "Бесстыдница!" – "Никто до ныне – не целовал моих очей; К моей постели одинокой – Черкес молодой..." Довольно! Даже слишком! – в сердцах едва не разорвав ее, Таша захлопнула книжку. Никаких сомнений у ней уже не оставалось: молодая героиня повести все излияния свои обращала к Пушкину, только к нему. "Говорили же мне – не верила, – казнилась Таша. – Натурально! Что ж ему делать было на Кавказе, как не кружить головы тамошним "девам"! Служить он не желал... Ах, – она подобрала под себя ноги, приникла головой к коленям. – Пушкин! Пушкин! Зачем ты такой злой!"

[**PAGE 100**]

96.

В доброте своей незаурядной ее еще как-то прощала Таша – "Мы девицы – легковёрны!" – его же – никогда!

Воротившись, Александр Сергеевич застал ее в слезах.

После прогулки утренней, после встречи с царем – холодно было ему глядеть, что на слезы, что на улыбки. Хотелось только лечь ничком и греть голову. Из вежливости одно, обнял он жену, поникнул в кресле, силком поставив ее на ноги, попросил:

- Ляг поди, родная, коли нездоровится.

- Сам ляг, – не подымая мокрых глаз, притопнула Таша. – Сам!

Пушкин, в этот момент раздумчиво вертевший в руках "Кавказский пленник" об пол хватил злополучную книгу:

- Вот что, матушка моя, – губы его, казалось, вот-вот лопнут. – или ты тотчас же идешь к себе, или более до смерти меня не увидишь! Со всеми псами и мышами к маменьке отошлю!

Не сдерживая рыдания, Таша бросилась к дверям, и, как раз едва с ног не сбила налезшего в проем не вовсе ловкого Никитушку Козлова с примирившей Имажкой на груди. Ласковая собаченка сейчас же, скуля рванулась к хозяйке; Таша подхватила ее на лету, припала лицом к белому доброму меху, и в голос уже, запричитала. Никитушка же Козлов – ровно и не видал и не слышал ничего – почтительным кругом приблизился к Александру Сергеевичу и заревел, точно на плацу:

- За мостку етаго, Александр Сергеевич, ассигнациями требуют!

- Что ты говоришь? – Пушкин готов был его расцеловать. – Ай умен шалопай!

Чистый громоотвод! – Сколько?

Ежели с водкой считать, – В охотку объяснять пустился Никитушка, – так гораздо поболее выйдет, чем насухую, но, конечно, тож изрядно!

- Вот прогоню болтуна! – отсчитал ему чего-то Александр Сергеевич и подошел к Таше.

[**PAGE 101**]

97.

Так, как в пароксизме каком, истово ласкала бедную свою Имажку; оплела собаченку развившимися волосами, беспрестанно нашептывала что-то в теплое лохматое ухо, целовала.

- Голубчик мой, Ташенька, – попробовал было Пушкин руку ей на плечо положить...

- Ведомо вам должно быть, – блеснул ему мокрые глаза, – что такими словами, как намедни, Александр Сергеевич, не бросаются. Соблаговолите позвать ваших людей и пусть они тотчас же уложат мои вещи: я минуты лишней не могу оставаться с вами под одним кровом!

Александр Сергеевич дал Имажке в розовую пасть ее палец.

- Вот тебе голова моя, – тихо сказал он, не глядя на Ташу, а видя перед собой лишь серую зелень царскосельскую давешним полднем. Не надобно, добрая моя! Ведь известно тебе – молодец я горячку пороть! Так не сыпь пороху! К чему это тебе? Семья одним твоим норомом не окрепнет! Ей из нас двоих расти должно. Ты приметь, я не за прощением к тебе говорю, хоть и виноват, разумеется; нет, здесь – другое!

В сердце своем не будь чужой мне! Я что угодно согласен делить с тобой, но согласишься и ты, сие возможно лишь при участии твоём. Ну же, Ташунчик!

Имажка, пригревшаяся меж двоими, слабо пискнула.

- Я не понимаю, глядя ее, ровным далеким голосом сказала Таша, – как после недавнего вы еще смеете просить меня о чем-то!

Пушкин, разведя руками, быстро зашагал по комнате:

- Добро! Тогда давай браниться! Чего нам в самом деле огород городить, жалеть друг друга! Давай разъедемся, ровно заживем в мире, в разврате...

Вы сами, коли помните, это предложили!

[**PAGE 102**]

98.

- А то как же! Я! Разумеется, я! Кто же еще виноват! Я набросился, взойти не успев, я тут бегал и при слугах волосы на себе рвал, с собаченкой целовался! Кругом я виноват! Натурально, нас ведь двое лишь – стало, я – негодяй!

- Вы позволяете себе недопустимый меж порядочными супругами тон!

- Я все себе могу позволить! – сорвался-таки Александр Сергеевич и круто остановился перед Ташей. Та отшатнулась, Пушкин мягко высвободил из пальцев ее Имажку: – Единственное, что позволяю я себе, так это любить тебя сверх меры великой! – и внимания не обращая на уклоны Ташины, обнял ее: – Люблю! Люблю!

... Вечером допоздна они пили чай. Пушкин много смеялся, рассказывал всякие лицейские пустяки, ерничал. Таша – будто и простила все – однако держалась с прохладцей, жаловалась на головную боль.

- Оставь, душа моя, – утешал ее Александр Сергеевич, – у кого нынче головушка не болит.

Но не оставлялось Таше.

Пушкин, рассеяно скользя взглядом по лицу ее, вдруг подобрался.

- Знаешь, позабыл я вовсе, – редким каким-то голосом, по слогам почти произнес он, – новость у меня!

- С царем нынче я в парке встречу имел! Чтобы не сказать благополучно, мирно кончилась беседа наша! Но – с сей поры – я историограф государства богоспасаемого нашего! Каково?

- Это как Карамзин? – искренне удивилась Таша.

Не любил Александр Сергеевич, когда равняли его с кем бы то ни было.

[**PAGE 103**]

99.

- По должности – да, – за трубкой тянись, подтвердил он. – По направленности же расходимся мы необыкновенно. Николай Михайлович поэтическим пером своим по летам воскресил времена давно минувшие. Явным сделал те тайные законы, коими крепла на Руси государственная и монархия власти, доказал их необходимость для блага народа. Заметим в скобках, а что ему не на благо? Мне выпали времена не так отдаленные. И потом – главным почту я в работе своей беспристрастность, историческую. В том, что сохраняет историк потомкам, более случайного, нежели закономерного. Доказывать же полезное только нашему дню, я не имею не токмо охоты, но и умения даже! Будь любезна, дай вон табак в коробке.

- Я так думаю, не сумеешь ты, – покрасневшись радостно, вступила Таша. На зеркальном паркете мелькнул ее разноцветный бал. "Прекрасная новость!"

- Что так? – нахмурился Александр Сергеевич.

- Нет, не сердись, – подавая табак, ластилась к нему Таша. – Просто Карамзин умел писать только томы, а ты все худенькие выдаешь! Я правду говорю, не смейся, тяжело будет!

Пушкин, бросив трубку, рассыпав табак, с головою в кресло пропал.

- Ай да, женка! – через слезы удалось ему, наконец, вымолвить. – Тебе критики надобно начать писать, а не рукодельничать. Вы бы с Имажкой такого понаписали – Булгарин по миру пошел бы!

- Вот глупый, – тоже смеялась Таша. – Разве не верно? Легко делать к чему привык! А скажи, Пушкин, – она посерьезнела, будто припомнив что. – Ты в стихах о себе писал?

- В стихах? – он оттопырил немного нижнюю губу. – Дай бог памяти! Право, не скажу! Может и писал!

[**PAGE 104**]

100.

- А в повестях? – надеялась Таша.
 - В "Белкине"? – прежде, чем подумал, сорвалось у Александра Сергеевича.
 - Нет, в повестях вообще.
 - В повестях вообще? А черт его ведаёт...
 - Не бранись только – прошу тебя!
 - Да не бранюсь я! Вот те крест – не помню! Ну, попадало кой-куда и от меня, конечно; только, разумеется, вздор всякий, пустяки, мелочь. А к чему тебе?
 - Нет, любопытно, – губку поджав, головой покачала Таша. – Устала я, Пушкин.
 - И то! Ну, покойной ночи, душа моя! Сделай милость – увидь во сне ангела.
- Таша не отвечала.
- Уже на липнувшей волне первого сна кольнуло еще раз ее давешнее "Так не признается, – в подушку шепнула она, – хитрый!"

5

Думалось – обернуться лишь не достает и в счастливых майских дожданиях предстанет глазам подтамбовская, золотая и зеленая, вотчина. Но не мятою тянуло с полей, а лежалым квелым луком; не податливо, во всю денницу, струилось под маркизы утро, но осклизлый рассветный ветерок пронизывал до костей; не песни сенных девушек теснили в груди дыхание, а на молитву чуть свет ставил, за завтраком пить учил, а за обедом есть наставлял, как сквозняк вездесущий, голос мадам Десфарж. И потому возвращаться некуда было, и приходилось либо в нынешнем с головою жить, либо из прошедшего выискивать одно окольное да потаенное, куда никто никогда взгляд не бросал, где в саду за беседками, близ детской – в чулане – полумрак всегда густ был, где быстро уставали, смежались веки и откуда, как на

[**PAGE 105**]

101.

неверных упругих крылах легко несло сердце прочь...

Еще кухня у ней была. Боже, как невыносимо было следить за притворным ее лукавством.

Не в пример Сашеньке, Бубу – это из Варвары-то переделали! – любовью немало у всех пользовалась; дарили ей все, баловали. Не стерпелось как-то Сашеньке, и умыкнула она у кухни своей, к именинам той привезенную куклу. Как нынче, лето было Сашенька – сад, сквозь малтыники и чепец, и юбки в лохмотьях – прорвалась, ничком в траву: умаялась, тяжела игрушка оказалась. Едва отдышавшись, под себя ноги поджав, села, куклу в рост перед собой поставила: хороша дама! Бомонд! Румяные щечки: синие, раскосые чуть, глазки; как смоль черные волосы подвиты по моде. Прелесть какая! Взяла ручки ее в свои – фи, противные, что масло, мягкие; мгновенно, от плеч к талии, огладила в шелк забранную фигуру и отпустила, отпрянув: гадость, труха!

Когда нашли ее – переполох из-за куклы и Сашенькиной пропажи большой вышел – сидела она, будто в забытьи: темные глаза на лице неподвижно стояли. Но, как ни в чем не бывало, прощения у кухни попросила, перед мадам Дефарж покаянно присела, сказала похищенное возвращая:

- Возьмите ее немедленно! У меня и в мыслях никогда не было играть с ней!

И как бы уверенно не повторяла после слова эти Александра Осиповна Россет, то по-английски, то по-французски, то по-русски – лгала. Алкало ее ни детством, ни юностью неутоленное сердце, встревало потому даже в обыденное и зряшное, пугалось из стороны в сторону, отемняло свет, в полуночное же бросало частые, но яркие блики. Так, обыкновенно, свеча в руках у сопровождающего слуги более ему светит, нежели барину. Норовистое сердце свое Александра Осиповна неплохо выучилась прятать.

[**PAGE 106**]

102.

Да только в гостиных по вечерам нечем было лица прикрыть и, независимой жизнью живучи, мимовольно влекло оно к себе взгляд, теряться заставляло девицу. Впрочем, нестрашно и успокоительно объяснял это свет правильностью черт одной.

Улыбалась тому Александра Осиповна.

А в улыбке всегда что-либо от времени года было. Коли зима на дворе – глаза, ровно снег, искрятся коли осень – робкая на ланитах краска, будто в ожидании близости снежной вянет и долгая, как ненастный вечер, тянется из-под век тень; весной – сменялась Россет, а летом – как ныне в Царском – ходила прикусив губку полную; притчилось – персик в зубах держит, не выпуская.

Улыбалась Александра Осиповна.

Тому еще, чего в Петербург наслушалась. Будто Пушкин в края отрочества своего лицейского на лето выбрался, поселился в доме Китаева, вьет там с юной женой гнездышко.

Улыбалась Александра Осиповна.

Припомнилось ей: кося желтыми своими белками, от свечей подальше, ежится Александр Сергеевич в уголке на пуфике, смеясь просит: – Уж хоть ты, тезка, бога для, стишками не мучай! У меня от Капниста в животе урчит! – а сам /знала то прекрасно она/ свое прочесть горит. Оттого и весело было ей тянуть в ночь идущее время, оттого и читала она ему едва ли не всего "Ябеду" целиком, с тем и приставала: а этот стих, мол, как? А это вот – мысль или что? А скажите, Александр Сергеевич, вам сейчас никого не хочется подкупить?

Еще улыбалась: что там за жена такая, что за москвичка, "Москва Онегина прельщает...", или как?

Улыбчиво, так, чуть было и не написала Александра Осиповна прямо: сочинителю в дом Китаевой, но перемарала-таки записку,

[**PAGE 107**]

103.

с улыбкой отдала беловик слуге, улыбаясь у окошка ждать села и не усмотрела: кажется, мгновенно появился в комнате Пушкин.

Улыбнулась Александра Осиповна:

- Ко мне слетали вы, как некий голубь к отроковице – помните! Невинной, – намеренно отделив в словах своих привкус размера поэтического произнесла она.

- Я! – отирая цветным платком лоб, не в раз уловил это Александр Сергеевич. – Мне, уверяю вас, любые крылышки не пристали. Но прежде чем мучить, разрешите к окошку подойти. На улице парит, мочи нет!

- Вы же знаете, что я вам всегда позволяю, – Александра Осиповна улежистее откинулась в кресла: – засиживаться позднее всяких приличий; философствовать скорее малопристойно, нежели красно; грызть, повсюду соря, орехи и, – помолчала, – нас бедных дам бранить!

- Вот уж не знаю, смогу ли я достойно воспользоваться подобной свободой, – как-то чересчур уж быстро отозвался Пушкин, но в междуусловиях и глазах его тотчас же поймала Александра Осиповна: не ей было сказано это, мимо; просто ближе другого лежало произнесенное и употреблено было из привычной готовности умелого собеседника, без нужды.

- Я нынче не совсем здорово себя чувствую, – клоня взор попросила она. – Мгновение захотела вас видеть... И – вот – клянусь себя. Могла бы и подумать прежде желания. Худо, коли не можешь свои капризы от чужих различить.

Александр Сергеевич так близко к отворенному окну сидел, что на плечи ему ложилась струями колеблемая ветром занавесь. Он попридержал ее руками, откинул назад голову.

Хитра тетка, – не смыкая губ, медленно говорил он, – хитра. Я именно то в уме и держал, сюда поспешая; дай, думаю, привычками

[**PAGE 108**]

105.

с Россет обменяюсь! Авось, и нечего будет! Свои-то все едино надоели давно!

- А мои?

- Как можно! Нет, вы не робейте представить, я ведь не очи прошу. Мне просто ореолом определенным захотелось разжиться. Такти, знаете, чтоб уж если слово молвить, – так стихом непременно; если глянуть куда – так со смыслом подспудным; а не приведи боже, сомышленник попадетса – так ледку ему за ворот, ледку...

- На кого вы злы сегодня?

- Я никогда ни на кого кроме себя не злился! Но вы промахнулись сейчас, поспешили. Я, Александра Осиповна, чувствую себе преспокойно. А когда к вам шел, то всюду, где возможно, листики с дерев сощипывал, точно барашек.

- Ну, а проще?

- Проще – сложнее, сложнее – проще, – Пушкин встал. – Ни жизнь, ни словесность так не мерится! Проще! Извольте: от счастья – несчастен.

- Косноязычием своим вы, Александр Сергеевич, меня положительно пленили. – Улыбалась Александра Осиповна. – Но после стихов, право, стоило ли стараться?

- Отчего так? – много спокойнее спросил он и опять достал платок.

- Вы не отходите от окна. Я сейчас скажу воды принести!

- Стихи не хороши, да?

- Кто сказал! – длинно удивилась Россет. – Стихи? Стихи ваши – прелесть. Пейте, вода крыжовником разведена!

Быстро поглядывая на собеседницу, Александр Сергеевич стакан предложенный взял, покрутил на свет, отставил, подошел к обращенному внутрь комнаты подлокотнику кресла.

[**PAGE 109**]

106.

- Я, тетка, – кончиками пальцев он касался ее прекрасной, нарочито вялой руки, – стишки скоро, может, и вовсе брошу. Слов более, чем души стало. Что-то меня все переключивать кого угодно тянет – это дурно! От этого сердца коснеет. Намедни Шамфора перечитывал, ума – пропасть, язык – будто серебряный, а все зараз взять – одно предложение. Там подслушано, здесь подсмотрено... Где ж сам-то?

- Как помню, ранее вы иначе судили.

- И писал, не только судил! Меня нынче какие-то пустяки преследуют... – Он сел, как прежде. – Можно?

- Давно жду.

- Ревет ли зверь в глухом лесу, – досадуя на себя за каждое слово, не чуя созвучий, с мучительно задышкой прочел тихо Пушкин и остановился.

- Жду! Жду!

Отгораживаясь от просьбы рукой, он молчал и, видно было по пустым глазам его, ничего не слышал.

- Сейчас, – попросил, наконец, кивнув. – Вот: трубит ли рог, – громит ли гром – Поет ли дева холмом, – и на цензуре этой успокоился; глубоко в груди где-то зазвенел-таки стих, талою музыкой потянуло от ударных слогов и – уже не помня как – дочитал единым духом. Осталось в ушах четкое пощелкивание согласных и приманчивое, прохлады полное, течение гласных.

- Тебе же нет отзыва... Таков – И ты, поэт! – распевно повторила Александра Осиповна, а сама не могла отделаться: "Неужели, действительно, таков?" И чтоб согнать с лица вяжущую ланиты бледность, спросила:

- Недавно?

- Давно, тетка, – печально подтвердил Александр Сергеевич. – Зимой где-то...

[**PAGE 110**]

107.

- Хорошо! – улыбалась себе Россет. – Прекрасно. Я слушала – будто к морю спускалась... Верно, замечали, есть такие ступенчатые, пологие берега, едва разгонишься, – передышка, едва разгонишься – передышка... Вот вы обмолвились, пустяк, – вдруг вспомнила. – Кокетничаете?

- В самом деле хорошо, – недоверчиво тянул Пушкин. – Да?
Александра Осиповна раскраснелась.

- Еще и докажи вам! Что я – журналист! Хорошо, и все тут! Смотрите мне, в другой раз с такими глазами и на порог не пущу.

- Добро, добро, – кивал он ей, – коли так – добро. А строки окороченные слух не режут?

- Уж коли об вас не изрезались, так что о строках поминать!

По углам губ у Александра Сергеевича морщины глубже прорезались:

- Ай да, тетка! Ну, отменно! – отсмеялся, последнюю смешинку водой запил, вольготно на каблуки ноги откинул, сощурился:

- А еще, тетка, у меня нечто величественное давно уж на примете имеется. Сам не знаю, в каком вкусе! Ода – не ода, а так – блаженной памяти Гавриила Романовича, что ли, кивок какой. Прельстительнее всего для меня тут, что эпическая строгость литератур древних, цели моей так потребная, ныне преточно накладывается на деяния нашего времени. Я Польшу разумею, – перехватил он рассеянный взгляд Александры Осиповны, и, морщась, подобрался несколько из привольной позы своей. – Вы смекайте! То, что в сей провинции нашей ныне происходит, едва ли не по духу Бородину уступит. Нас, русских, в Европе, как прежде, варварами почитают. Наполеона простить не могут. В сем случае, Польша делается отменнейшей причиной к

[**PAGE 111**]

108.

объединению всех недугов наших! Я как-то близко уж больно чую, высказаться тянет. Да, так чтобы замысла не притемнить, а поелику возможно, обнажить. Откровение здесь надобно такое, как в колокольном звоне бывает...

- Или в указе, – кончиком языка вставила Россет.

- Вот, нимало, – будто даже не заметив укола, только ускорил речь свою Пушкин. – Ни на булавочную головку. Причем здесь указы? Это, право, голубушка, еще Цицероном освящено! Что ж, сочинителю, по-вашему, вечно в стороне стоять должно! Пускай, мол, мир своим, как может мается, пускай глотку друг у дружки рвут, пускай неправда правит? Этак, вашими глазами глядя, весь ветхий завет похерить надо!

- Зачем же весь ветхий завет, – спокойно переспросила Александра Осиповна. Очарование только что слышанного стиха покинуло ее. Из темна, издалика знакомое накатывало: "Возьмите немедленно это! У меня и в мыслях никогда не было играть с ним! Брезгливо как-то провела она по лицу сухой своей ладонью, вскинула глаза: – Я из всего сказанного вами сейчас ни слова не поняла!

- Так я еще не точно говорил, – облегченно улыбнувшись, загорячился Александр Сергеевич, – мысль моя в работе еще. Я покамест и сам от чувства к слову потемками бреду... Напишу – увидите!

- Нет! Не увижу! Более того – не захочу увидеть! Скажите откровенно, что нам поляки? Чем перед вами они провинились?!

- Ой, тезка, не мути! – Пушкин крепко перекусил край губ. – Поляки мне, положим, может, и вовсе безразличны! Я иное в уме держу. – Единение! Примечали, верно, как чураются ныне друг дружки потомки древнейших родов наших? В каком забросе они? Не токмо парвеню различные рассеивают, но и собственные заблуждения! Вот я и удумал единение недругов чужеземных для нашего

[**PAGE 112**]

109.

сполчения использовать! Пусть узнают свои своих!

- Зачем же нам о том хлопотать? Дибич и так уже всех во фронт поставил!

Объединил!

- Ну, – не понял Александр Сергеевич.

- Там кровь льется, Пушкин, – тихо свое досказывала Россет. – Неповинная! Там дибичевы полки огнем и мечом мир установить мыслят. А что на сон расти будет, Пушкин?

- Когда государь Петр Алексеевич сто лет тому закладывал основы государства современного, – сцепив за спину руки, из стороны в сторону раскачивался Пушкин – также достаточно голов полетело на плаху. Вы находите – зря! Пусть так! Тогда не пользуйтесь всем взросшим по воле его! Сумейте стать так, чтоб вас дела пращуров – согласен: кровавые – не касались, – голос его набрал силу. – Найдите себе такое место! Неважно, где! Плюньте, коли не терпится, на Россию! По всему белу свету ступайте! В Америке ищите! Где угодно! Вы увидите – нет чистой земли, нет обетованной, нет! Нет! И быть не может! Закон се! – он сел. – Простите, тезка, что покричал: всю неделю сам не свой! От нерв, видно.

Пусто было Александре Осиповне глядеть на его присохшую к стулу, будто выжатую фигуру. Смежив веки, она криво усмехнулась:

- Я вижу, ничего не доказала вам, Александр Сергеевич. Верно, вправду говорят: у бабы волос долог, а ум... Только уж вы – не ради бога, а просто для меня – припоминайте иной раз, что закон не более, как сила. Поэту грех смотреть в эту сторону!

- Отнюдь не собираюсь дневалить подле своих пьес, али им же флюгером быть, – с каким-то даже высокомерием отнесся к ней Александр Сергеевич. – То потомков забота разобрать по книгам моим, куда смотрел я. При жизни же я одной свободы хочу. А

[**PAGE 113**]

110.

советов да подсказов у меня вот как навалено, выше лба!

- Я и не навязываюсь вам в советчицы, Александр Сергеевич!

Пушкин перемолчал, пока не отошла от головы саднящая виски кровь и медленно улыбнулся:

- Я бы вас, тетка, даже на жалование взял, будь на то моя воля, да ведь не пойдете!

- Не пойду, – вяло поддержала его Россет. – Привередлива!

- И бранилива!

Александра Осиповна улыбнулась:

- Спасибо, что навестили отшельницу!

Возвращаясь к себе, Александр Сергеевич шел очень быстро; не хотелось думать, хотелось бить в гулкую деревянную мостовую каблуками, сильнее и сильнее, казалось, стук этот заглушает – при совпадении – бой сердца. Взойдя домой и столкнувшись у дверей кабинета с Ташей, он пожалел о торцах на пройденной дороге. "А чем они с Россет, собственно отличаются друг от друга?" – коротко мелькнуло ему. – "Каждая сама по себе. И я при них также – сам по себе!"

Александра же Осиповна вечер тот тихо дождала. Разложила перед собой старые письма, оттуда читала, отсюда, покурила сигарку, пересмотрела два томика Мариво. Молясь на ночь – молила бога пуще всего о справедливости, ибо прекрасно знала: неравно творец делит себя меж чадами своими, и к обделенным на подмогу дьявол приходит, антихрист.

(Продолжение следует).

[**PAGE 114**]

111.

Е. М.

ИВАН и МАСТЕР[1]
(главы из монографии)

Для подлинного научного исследования романа М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита", как и любого значительного художественного произведения, требуются предварительные текстологические исследования, изучение творческого пути писателя, его писем, воспоминаний о нем современников. Эта работа едва начата. Данная статья ставит перед собою узкую цель: проследить лишь одну сюжетную линию романа, путь Мастера и Ивана, и выяснить связь между этими, по нашему предположению, ведущими персонажами.

Не будем торопиться с выводами, попробуем осмыслить каждую деталь, имеющую значение при разрешении поставленной задачи.

I

Иван и Берлиоз

Первая глава этого романа требует особого внимания, так как в ней "зачин" последующего действия.

В "страшный майский вечер", когда "солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо", на Патриаршие пруды приходят два московских литератора, Михаил Александрович Берлиоз и поэт Иван Бездомный, чтобы обсудить антирелигиозную поэму Ивана. Рассказчик роняет о ней следующее замечание:

"Изобразительная ли сила таланта или полное незнакомство с вопросом, по которому он писал, но Иисус у него получился, ну, совершенно живой, только, правда, снабженный всеми отрицательными чертами Иисус".

В этом замечании двойной смысл. Во-первых, оно доказывает, что Иван – "идеологически выдержанный" молодой человек: ему

[**PAGE 115**]

112.

известно, что религия – явление реакционное, вредное, и, следовательно, каждый основатель религии, будь то Будда, Магомет или Иисус, лицо отрицательное, и списывать его следует самими черными красками. Во-вторых же, оно показывает, что автор поэмы – человек "невежественный", так как Иисус у него получился "ну, совершенно живой". С точки зрения Берлиоза, председателя Ассоциации московских литераторов и редактора, "Иисуса этого как личности вовсе не существовало на свете, и все рассказы о нем – обыкновенный миф". Свое утверждение он подкрепляет множеством цитат из разных книг. Берлиоз "красноречив до ужаса".

В разговор литераторов вмешивается иностранец странного вида, назвавший себя профессором, специалистом по черной магии, приехавшим в Москву в качестве консультанта. Мастер, выслушав рассказ Ивана о происшествии на Патриарших прудах, удивился тому, что Берлиоз не узнал в "консультанте" дьявола, хотя его признаки были на лицо: черный пудель (набалдашник на трости), фокус с папиросами, пародирующий фокус Мефистофеля в студенческом кабачке и другие признаки.

Хотя Берлиоз стоял лицом к лицу с дьяволом, он отрицал его существование. Предвзятое мнение для него сильнее очевидности. Раз, по его убеждению, этого "не может быть", значит, этого и нет. Такой характер мышления можно назвать "запрограммированностью". То, что находимся вне вложенной в сознание "программы", то не воспринимается вовсе или с трудом, болезненно. Литераторы не уловили иронии в просьбе Воланда:

"Умоляю, поверьте хоть в существование дьявола", – то есть, если уже вы не верите в существование Бога, то поверьте хоть в реальность дьявола – просит стоящий перед литераторами дьявол. Затем он произносит многозначительную фразу: "Ну, уж это положительно интересно... чего нихватишься, ничего нет".

[**PAGE 116**]

113.

Этому "ничего" Булгаков противопоставляет свое повествование о Понтии Пилате. Еще точнее: этому "ничего" противопоставлен роман в целом.

Для понимания стержневой идеи романа чрезвычайно существенен эпизод с отрезанной головой Берлиоза, на которой сохранились "живые, полные мысли и страдания глаза". Смысл эпизода раскрывается в ироническом, но далеко не шуточном обращении Воланда к голове; оно заканчивается такими словами:

"... Каждому будет дано по его *вере*. Да сбудется же это! Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из чаши, в которую вы превратитесь, выпить за *бытие*".

Уход в "небытие" для Берлиоза не кара: он сам его вызвал. По существу, он и при жизни принадлежал "небытию". Берлиоз – не характер, не индивидуальность. Он и для своих товарищей – литераторов – ничто. Их больше поразили обстоятельства его гибели, чем самый факт его смерти. По городу пошли слухи об "отрезанной и украденной" голове. Торжественные похороны – обязательный церемониал по отношению к председателю МАССОЛИТа, а не день уважения Мише Берлиозу. Даже Иван, свидетель несчастья, сперва взволнованный ужасным зрелищем прыгающей по камням отрезанной головы человека, с которым он только что разговаривал, успокоившись, думает: "Ну, придет другой редактор, еще более красноречивый, то есть умеющий еще более ловко нанизывать цитаты из чужих книг. Мастер о Берлиозе говорит – "он хитрый" – значит, ловкач, приспособленец, человек без собственного лица. Но при всем своем духовном ничтожестве Берлиоз на свой лад полезен. Его функция – воспитывать умы членов Ассоциации в должном направлении. Однако и в запрограммированное сознание недозволенным путем может проникнуть недозволенная мысль. Поэтому вслед за ним шествует барон Майгель, как это случилось на сатанинском балу; кровь убитого Майгеля, соглядатая и

[**PAGE 117**]

114.

доносчика, наполнила чашу, в которую превратилась голова уходящего в небытие Берлиоза.

Особенное значение имеет следующая мысль в обращении Воланда к голове Берлиоза: "... а мне радостно будет из чаши, в которую вы превращаетесь, выпить за *бытие*".

Булгаков наделил Воланда чертами, сближающими его с гетевским Мефистофелем. Сходство их обликов резко выявляет их существенное различие. Мефистофель – "дух отрицания". Он готов усомниться в самой реальности бытия:

[1] [4]

Ему мила "вечная пустота". Воланд поднимает тост за "бытие". Ушедшее для него не пустая видимость, сотворенное – неуничтожимо: "Рукописи не горят".

Эккерман как-то задал вопрос:

[2] [5]

Ответил:

[3] [6]

По мысли [7] демоническому свойственно позитивное начало. Воланд, в противоположность Мефистофелю, "дух утверждения", ему не чуждо демоническое начало в том значении, какое вкладывает в это слово автор "Фауста". Так можно определить дистанцию между изображениями дьявола и у Булгакова.

Существенно и еще одно различие. В трагедии Гете дьявол рассчитывает отбить у Бога его верного слугу – Фауста; Бог и дьявол спорят о душе человека. Но Воланд и Иешуа не антагонисты: они пребывают в одной сфере, хотя заведуют в ней разными "ведомствами". "А каждое ведомство должно заниматься своими делами",

1. Все кончено. А было ли начало?

Могло ли быть? Лишь видимость мелькала,

Зато в понятия вечной пустоты

Двусмысленности нет и пустоты" (Пер. В. Пастернак)

2. Не обладает ли Мефистофель чертами демонического?

3. Нет, Мефистофель слишком негативен по своей природе, демонической.

4. [Пробел в машинописи.]

5. [Пробел в машинописи.]

6. [Пробел в машинописи.]

7. [Пробел в машинописи.]

[**PAGE 118**]

116.

- говорит Воланд Маргарите (гл. 2).

Нравственные начала мира относятся в романе иначе, чем в трагедии Гете: по одну сторону оси мирового компаса, по которому располагаются нравственные ценности, находятся Воланд и Иешуа, по другую – стражи запрограммированного сознания – Берлиоз и Майгель. Полон глубокого иронического смысла конец Майгеля: он не удостоился даже похорон, его тело колдовским образом исчезло.

Иван Бездомный обрисован в первой главе как почтительный ученик Берлиоза. Это – "точка отсчета": образ Ивана на протяжении романа раскрывается в движении, но не внешнем, сюжетном, движении, автор рисует его духовный путь.

Каким же предстает перед нами двадцатитрехлетний поэт в начале этого пути? Определяющая черта его нравственного облика – простодушие. "Вы, конечно, человек девственный" – говорит Мастер Ивану во время их первой встречи. "Простодушие" включает в себя доверчивость, непосредственность, наивность. "Простодушие" не способен критически воспринимать окружающую действительность и установленные взгляды. В Иване сохранилось что-то детское. "По-детски" он кладет кулак под голову, засыпая в палате психиатрической лечебницы.

Берлиоз не учил Ивана умению мыслить. Его задача была прямо противоположна: он стремился запрограммировать сознание подопечного литератора. Отчасти ему это удалось. Иван догадывался, что на Патриарших прудах встретился с существом необычным и опасным: "Он натворит неопишуемых бед". На непонятное Иван реагирует по стандартам: "Опасный" – значит "шпион", "русский эмигрант", против него надо направить мотоциклистов, вооруженных почему-то непременно пулеметами. После гибели Берлиоза Иван устремляется в погоню за "иностранцем". Эту погоню спровоцировал сам дьявол, и он же направлял шаги поэта. Конечно же, "нечистая

[**PAGE 119**]

117.

сила" украла одежду Ивана. В ресторан он прибежал в одних кальсонах, что послужило главным доказательством его "сумасшествия". Но было еще одно доказательство: в руках он нес зажженную свечу, к груди прицепил иконку.

В клинике Стравинского он дал такое объяснение своим странным поступкам. Но дело в том, что он, консультант, он ... будем говорить прямо... с нечистой силой знается, и так просто его не поймашь. Я иконку на грудь прицепил и побежал". Он догадывается, что не одними пулеметами следует вести борьбу с "нечистой силой", что "нечистый" – все-таки духовная сила, и действовать против него надо в его собственной сфере: против "нечистого" – "чистым", против черта – иконой, крестным знаменем, венчальной свечей.

Поступки Ивана направлены на добрую цель – защитить общество от угрожающей ему опасности. И Воланд добр к Ивану: не лишись он "разума", пришлось бы ему, подобно Рюхину, до конца дней писать "дурные стихи" и пожалеть об этом, "когда ничего нельзя в жизни исправить, а только забыть".

Что такое "клиника Стравинского" – сложный вопрос. Упростим его: "что такое 'клиника Стравинского' для Ивана Бездомного?"

Автор называет его то "домом скорби", то "домом вдохновения".

С самого начала пребывания в психиатрической лечебнице Стравинского Иван стал освобождаться от "запрограммированности" сознания. Собственно, освобождение от "запрограммированности" началось раньше, еще на Патриарших. Когда Иван сидел на скамье в состоянии шока после страшной гибели председателя МАССОЛИТа и вдруг услышал беседу двух женщин о какой-то Аннушке, которая разбила бутылку подсолнечного масла у турникета, он понял, что предсказание "консультанта" сбылось. Целостность берлиозовской схемы мира дала трещину, душевное равновесие Ивана

[**PAGE 120**]

118.

нарушилось.

Освобождение от запрограммированности – первый шаг на пути духовного просветления.

Сперва Иван продолжал мыслить и действовать по инерции, рвался в милицию, собирался требовать вооруженных мотоциклистов. При этом он был убежден в своей нормальности. На вопрос врача: "Вы нормальны" – он с уверенностью ответил: "Я – нормален".

Врач записал диагноз "шизофрения". Иван получил комнату под номером 117, ему был сделан укол, он заснул.

2

Путь духовного ученичества Ивана

В клинике Стравинского начинается новый, самый важный этап духовной жизни Ивана.

История Ивана в клинике Стравинского – "это история активизации человеческой личности, ее взлета"... "Активизация" приподнимает "заурядного героя" над его первоначальным уровнем". Иван – "простака" жаждущий знаний, приобщения к тайнам". Взятые в кавычки слова принадлежат Т. Манну и относятся к другому "простаку" – Гансу Касторпу, который прошел свой путь просвещения, находясь в "зачарованном лишенном времени мире" – в санатории для легочных больных на Волшебной горе[1].

Прямое сопоставление Ганса Касторпа и Ивана, клиники для душевнобольных и санатория для туберкулезных в Давосе было бы наивным. Но и возникающая у нас ассоциативная связь между ними не вполне случайна. Томас Манн так характеризует скрытый смысл своего романа: усвоенные Касторпом уроки сводятся к тому, что "всякое здоровье в высоком смысле этого слова должно сначала пройти школу глубокого познания болезни и смерти". "Это понимание болезни и смерти как необходимого этапа на пути к мудрости,

1. Введение к "Волшебной горе". Доклад для студентов Принстонского университета.

[**PAGE 121**]

118.

здоровью и жизни делают "Волшебную гору" романом о посвящении в таинства"[1].

Говоря о духовном взлете своего героя, немецкий писатель употребляет термин . Булгаков говорит о "преображении" поэта. Это начальная ступень – "раскол воли", раздвоение Ивана, зарождение в прежнем "нового" Ивана с иными оценками действительности и установленных взглядов, усвоенных им в Ассоциации литератора. Он спрашивает себя, не умнее ли было бы расспросить "иностранца" о дальнейшей судьбе Понтия Пилата, а не гнаться за ним через всю Москву.

Иван засыпает. В полусне ему мерещится кот, "не странный, а веселый". Ивану начинает открываться истинная природа вещей, ведь Бегемот и был "на самом деле" демоном-пажом, "лучшим шутком, какой существовал когда-либо в мире".

"Раздвоение Ивана" – подготовка его сознания к встрече с мастером, и обретение нового единства личности на более высокой ступени духовного познания. Встрече Ивана с Мастером предшествует гроза. "При каждом ударе грома он жалобно вскрикивал". Эпизод этот, взятый изолированно, объясняется просто: гром раздражает больные нервы. Однако в контексте романа он приобретает иной смысл.

В романе гроза всегда знаменует качественный сдвиг в духовном мире. Распятие , "мировую катастрофу", сопровождает космической силы гроза. Освежающая, животворная гроза предшествует полету Маргариты и Мастера. "Это последняя гроза, она довершит все, что надо довершить".

Грозу, взволновавшую Ивана, унесло; восходит полная луна. В комнате Ивана появляется его ночной гость – Мастер. "Гость

1. Там же

[**PAGE 122**]

разговаривая, поворачивает голову к луне"[1]. Беседа Ивана распадается на две части разного содержания. Начинается она с рассказа Ивана о происшествии на Патриарших прудах. Иван еще не понимает истинного значения того, что он услышал и пережил в то утро на Патриарших. Мастер понял все. Слушая пересказ Ершалаимского повествования Воланда, он молитвенно складывает руки и шепчет: "О, как я угадал! О, как я все угадал".

Иван хочет, наконец, узнать, кто же такой этот таинственный иностранец, лично знавший Канта и присутствовавший в Ершалаиме при встрече Иешуа и Пилата.

Мастер дает ответ: – Вы встретились с сатаной.

Но в новом Иване еще живет прежний Иван, реагирующий на ответ Мастера по-барлиозовски: "Его не существует!" Мастер объясняет поэту: "Вы свихнулись, так как у вас, очевидно, подходящая для этого почва. Но то, что вы рассказываете, бесспорно, были в действительности".

Так Мастер словно снимает пелену с глаз Ивана, открывает дотоле неведомый ему мир великих духовных событий, активизирует заторможенные духовные силы "обыденного героя". Сдвиг, происходящий в сознании Ивана, преобразует его личность до самых глубин. Подчеркивает: изменяется не мировоззрение, не идеология Ивана, а его духовное "я". Поэтому у нас возникает ассоциация о посвящении в таинство. Эта ассоциация находит подтверждение в тексте: посвящающий "Мастер", посвящаемый – Ученик. Знак происшедшего посвящения – ершалаимское сновидение Ивана.

Автор не навязывает читателю единственного возможного толкования. Но в любом случае роман представляет собой целостную конструкцию. В этой связи рассмотрим небольшой эпизод. В пятницу в клинику пришел следователь, чтобы расспросить Ивана о подробностях происшествия на Патриарших прудах.

1. Мастер сразу предстает перед читателем как "лунный гость", хотя эпитет "лунный" появится только в 2-й главе.

[**PAGE 123**]

120-121.

"Следователь протянул руку Иванушке... и выразил надежду, что вскорости вновь будет читать его стихи.

- Нет, – тихо ответил Иван, – я больше стихов писать не буду.

Следователь вежливо усмехнулся, позволил себе выразить уверенность в том, что поэт сейчас в состоянии некоторой депрессии, но скоро это пройдет.

- Нет, – отозвался Иван, глядя на следователя, и вдаль на гаснущий небосклон, – это у меня никогда не пройдет. Стихи, которые я писал, плохие стихи, и я теперь это понял.

Следователь не догадывался, что Иванушка "совершенно изменился" со дня гибели председателя МАССОЛИТа.

Когда же произошло это изменение и в чем оно состояло? По буквальному смыслу текста оно потребовало немного времени, меньше двух дней (среда-пятница), и выразилось в равнодушии к участи Берлиоза и в нежелании писать стихи в дальнейшем. Но за эти "два дня" Иван пережил два огромных события в своей духовной жизни – встреча с Мастером и ершалаимское сновиденье.

Автор раскрывает нам постоянно существующие два пласта жизни: поверхностный всеми видимый, естественную последовательность фактов и глубинный, скрытый, с иными законами пространства и времени. Оба пласта были реальны, но реальностью разной. Реален поэт Иван Бездомный, дающий ответы следователю в клинике для душевнобольных. Реален и "совершенно изменившийся" Иван.

"Перед приходом следователя Иванушка дремал лежа, и перед ним проходили некоторые видения. Так, он видел город странный, непонятный, *несуществующий*... В дремоте перед Иваном явился неподвижный в кресле человек ... в белой мантии с красной подбивкой..."

С этим человеком лицом к лицу встретится Мастер после своего полета и по велению Иешуа "отпустит" его.

А происшествие на Патриарших прудах поэта Ивана Бездомного более не интересовало.

[**PAGE 124**]

122.

С. Киркегор

БОЛЕЗНЬ-К-СМЕРТИ

2. Граница между страхом и отчаяньем.

(Существование поэтического в направлении религиозного)

Грех означает: перед Богом или в мыслях о Боге отчаяться и не хотеть быть собой, или же отчаяться и хотеть быть собой. Грех поэтому – потенцированная слабость или потенцированное упрямство: грех – это потенцированное отчаянье. Ударение поставлено на "перед Богом" или на то, что здесь существует представление о Боге; то, что диалектически, этически, религиозно делает грех, по выражению юриста "квалифицированным" отчаяньем, является представлением Бога.

Хотя в этом отрывке нет места и пространства для психологического изображения, мы все-таки рассмотрим наиболее диалектическое состояние пограничности ([1]) между отчаяньем и грехом, что может быть названо существованием поэтического в направлении к религиозному, существованием, имеющим нечто общее с отчаяньем резигнации, только здесь мы имеем дело с представлением Бога. Подобное поэтическое состояние представляет собой самый выдающийся тип поэтического бытия, о чем можно заключить, исходя из конъюнкции и положения категорий. С христианской точки зрения (которая противоречит любой эстетике), всякое поэтическое бытие является грехом, грехом поэтизации, заменяющего бытие, грехом фантазирования о добром и злом, а не их бытия, т. е. не экзистенциального стремления быть в них. Поэтическое существование, о котором мы говорим, отличается от отчаянья тем, что ему сопутствуют представление Бога или что оно находится перед Богом; оно чудовищно диалектично и одновременно представляет собой непрозрачную диалектическую смесь в сознании степени своей греховности. Такой поэт может обладать

1. [Пробел в машинописи.]

[**PAGE 125**]

123.

очень глубокой религиозной устремленностью, и представление о Боге входит в его отчаянье. Он любит Бога более всех вещей. Бога, являющегося единственным устремлением в его тайной муке, и все же он любит и муку, он не может оставить ее. Как охотно хотел бы он быть самим собою перед Богом, но не в отношении твердого смысла, в котором страдает самость; отчаявшись, он хочет быть самим собой; он надеется на то, что вечность поглотит все это, но здесь, во временности, как бы глубоко он не страдал, он не решится взять это на себя, не сможет смириться в вере. И все-таки он продолжает обращаться к Богу, и в этом – его единственное блаженство; для кого было бы чудовищным лишиться Бога, "он был бы в совершенном отчаянии", однако он позволяет себе, пусть даже неосознанно, представлять Бога немного иначе, не таким, каким Бог является на самом деле, – немного по типу милого папаши, который готов исполнить любое желание любимого ребенка. Если несчастный в любви становится поэтом, он воспевает любовное счастье в стихах: так же он станет поэтом религиозного. От него требуется избавиться от этой муки, что значит: в вере смириться с ней и взять ее на себя как принадлежащее собственной самости – ведь поэт хочет выбросить ее из себя, и потому крепко держится за нее, хотя он и думает, (нечто, что подобно каждому слову отчаявшегося, и что правильнее только задним числом, и поэтому понимается только ретроспективно), что это значит его наибольшее отдаление от муки, ее исчезновение в наивозможнейшей степени. Но взять ее на себя в вере – на это он не способен, на это не пойдет и в крайних случаях, иначе – его самость здесь упирается во мрак. Но подобно описанию любви тем поэтом, описание религиозного здесь обладает столь волшебным влиянием, такой лирической высотой,

[**PAGE 126**]

12

какой не найти у семьянина или священнослужителя. То, что он говорит, не ложно, нет: изображение представляет собой как раз его более счастливое, лучше я. Он – несчастный влюбленный по отношению к религиозному, т. е. в строгом смысле он не верует; ему принадлежит только самое начало веры: отчаянье и сопутствующая отчаянью жгучая тоска по религиозному. Его парадокс заключается в следующем: или он призван – и игла во плоти – это выражение того, что его назначение необычайно, будет ли он принят Богом в этой необычности? Или же игла во плоти – это то, в чем он согнется, чтобы прийти ко всеобщему человеческому? Но довольно об этом, призывая в свидетели истину, я говорю: к кому обращена моя речь? Подобные психологические исследования в энной степени – кому они нужны? "Нюрнбергские радужные картинки", которые изображает пастор, можно понять лучше, они в своей обманчивости похожи на всех и на каждого, на людей, какими они большей частью бывают, и как понятие духовное они представляют собой чистое ничто.

18 8 г.

Перевела Т. Горичева.